

Александр Бахрах

## ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ... III

*Публикация Григория Поляка*

Теперь уже я сам с трудом могу поверить, что мне довелось когда-то пожимать руку человека, который, в свою очередь, не раз пожимал ее Достоевскому. При разборе папки со старыми бумагами об этом мне напомнила случайно оброненная карточка. Это был членский билет берлинского "Дома искусств", выданный в 1922 году, на котором в нижнем углу красовалась подпись его председателя — "Н. Минский". Бог мой, чуть не вскрикнул я, неужели я уже так стар, что в молодости знал и даже дружил с тем, кто во всех историях русской литературы именуется "отцом русского декаденства", кто на протяжении своей долгой жизни пожимал руку Достоевского, Тургенева, Лескова, всех едва ли он сам мог вспомнить.

Да, я еще и сейчас вижу перед собой его непомерно большую на небольшом туловище голову, острые, но малоподвижные глаза, слышу его неустанное причмокивание и некое сюсюкание при виде молодых поэтесс, которых он рассматривал тем внимательнее, чем моложе была представительница русского Парнаса. Весь он был тогда какой-то розово-серебрящийся, ненатурально аккуратенький, веяло от него запахом какого-то "тройного" одеколona. Мне он уже в те далекие дни представлялся неким "патриархом", хотя для этой роли недоставало ему окладистой бороды. Взамен он носил лишь небольшие усы, которые, думается мне, он слегка нафабривал.

Вспоминаются многие из его рассказов и прибауток, которые он любил повторять. В литературном кругу он не мог отделаться от абстракций, от "высокого штиля", хотел непременно сказать что-то "умное", чтобы его слова передавались дальше. Но зато в более интимной обстановке, когда ему не приходилось выполнять функций "председательствующего" и ради престижа принимать церемонный вид, он не гнушался рассказывать рискованные анекдоты, вспоминать свою жизнь на Монмартре в годы перед войной. А когда удавалось подцепить его на воспоминания литературного порядка, он точно преображался и оживал. Он тогда сразу отбрасывал "отвлеченности" и делался по-настоящему интересен.

Более других запомнились мне его рассказы — собственно, они были его "коронным номером" — о посещении журфиксов Достоевского в его квартире в Кузнечном переулке. Поначалу мне его рассказы даже казались маловероятными. Как же мог человек, сидящий рядом со мной, бывать у Достоевского? Однако, прикинув, я убедился, что в год смерти Достоевского моему собеседнику было уже 26 лет, возраст по тем временам, считавшийся вполне "зрелым".

Как-то особенно отчетливо врезался в память рассказ о том, как молодой поэт отважился читать при авторе "Карамазовых" свои юношеские стихи, пропитанные гражданскими мотивами, скорбные и сумеречные. Волнуясь, но заранее предвкушая похвалы, потому что сам Минский был своими стихами всегда доволен, он прочел Достоевскому едва законченную им "Серенаду", впоследствии ставшую набившим оскомину романсом:

Тянутся по небу тучи тяжелые,  
 Мрачно и сыро вокруг.  
 Плача, деревья качаются голые...  
 Не просыпайся, мой друг...  
 Не разгоняй сновиденья веселые,  
 Не размыкай своих глаз.  
 Сны беззаботные,  
 Сны мимолетные  
 Снятся лишь раз...

По словам Минского, едва он кончил свое напевное чтение, Достоевский повернулся к нему с язвительной усмешкой и, глядя в упор, спросил: "Молодой человек, а сколько вам лет?" Этим все было сказано. Стихов на воскресных журфиксах Достоевского Минский никогда больше не декламировал и даже начал внутренне побаиваться взгляда кроткой Анны Григорьевны; с этого дня ее взгляд стал казаться ему насмешливым!

Не менее живыми были его рассказы о встречах с Григоровичем, Полонским, Лесковым и даже с тем, кто "над Россией простер совиные крыла", с всеильным Победоносцевым.

Но все-таки еще более красочными были его воспоминания о парижских встречах с Тургеневым, раз и навсегда поразившим его своим барственным видом и непривычной в писательских кругах учтивостью и услужливостью. Говоря о Тургеневе, Минский неизменно вставлял слово "джентльменство", предупреждая, что тогда это понятие еще не было в ходу.

Может быть встречи с Тургеневым более отчетливо запечатлелись в памяти Минского из-за того, что, ознакомившись с "пробами пера" начинающего поэта, Тургенев сразу же написал Стасюлевичу, от которого зависело их напечатание: "у Минского несомненные искры таланта, но надо ему еще потрудиться над формой. Все же в каждом стихотворении "зерно", а это главное". При этом Тургенев не удержался, чтобы по своему обыкновению не придрататься к кое-каким стилистическим неполадкам. Минский добавлял, что поневоле тургеневскими "директивами" пришлось ему воспользоваться и с кислой улыбкой, точно извиняясь, говорил: "Позволительно ли было тогда послушаться Тургенева?"

Впрочем, все-таки более серьезная неувязка получилась у Минского с Тургеневым из-за вечера, который устраивало в Париже "Общество русских художников", неизменным покровителем которого был автор "Отцов и детей". Он-то и вздумал пригласить молодого поэта, проездом в Париже, выступить на вечере. Сам он на нем не появился, но чуть ли не в полном составе присутствовало "императорское российское посольство". Тургеневу затем донесли, что вместо стихов о луне и ночной росе, как ожидали, Минский позволил себе угостить присутствующих чтением отрывка из своей поэмы "Белые ночи", по-

священного казни Каракозова. Каша для Тургенева заварилась пренеприятная. Благо, он был в приятельских отношениях с послом, князем Орловым, и дело удалось замять. Все же Минский уверял, что этого выступления Тургенев ему не простил до гробовой доски.

Особенно щеголял "отец русского декадентства" тем, с какой якобы восторженностью Толстой принял его книгу "При свете совести", носившую подзаголовок "Мысли и мечты о цели жизни". В ней Минский излагал придуманную им идеалистическую философскую теорию, навеянную Кантом, и которую он окрестил "мэонизм".

Минский охотно объяснял тем, которые готовы были его слушать, что "мэон" обозначает нечто реально не существующее, но стремление к достижению которого лежит в основе деятельности каждого человека. Теория казалась мне весьма туманной и не вполне убедительной и не зря провозвестник загадочного "мэонизма" сам на себя сочинил злую эпиграмму:

Сперва блуждал во тьме он,  
Потом измыслил "мэон".  
Нет, не в своем уме он!

Каюсь, "мэонической" книги я не читал и ссылка Минского на восторги Толстого казалась мне преувеличенной. Однако, перелистывая недавно толстовские дневники, я наткнулся на две записи: "Чтение книг Минского. Замечательно сильно начало — отрицание, но положительное ужасно... Нужно найти смысл в жизни и вдруг вместо этого неопределенный экстаз перед мэонами", а несколькими днями позже: "Читал превосходно написанную книгу Минского с ужасно плохим концом". "Все мы люди" и было естественно, что Минский предпочитал ограничиться рассказами о впечатлении Толстого от чтения первой половины его книги.

Первое четырехтомное собрание сочинений Минского вышло в 1904 году, а тогда в Берлине была издана только одна его лухлая книга с программным названием "От мрака к свету". Это было собрание его старых стихов, частично написанных под заметным влиянием Надсона, частично пропитанных скорбной

позой разочарования во всем. Славы эта его антология ему не принесла. "Декадентство", многих прельщавшее, пока оно было новинкой, казалось, как и сам седовласый поэт, неким анахронизмом. Погубило его — конечно, литературно — еще то, что он всегда был холоден и, как писал о нем Блок, "никогда не был откровенен". Не желая отстать от поветрий моды, ему постоянно приходилось влиять и "прихрамывая" идти за веком.

Когда я его встречал, он, собственно, был уже "поэтом в отставке", жившим на "проценты" с собранного им когда-то как никак немалого поэтического капитала. Вероятно, поэтому ему так льстило выполнять должность председателя в каком ни на есть литературном объединении. Продолжалось это, однако, недолго. Русский Берлин стал хиреть и "Дом искусств" закрылся. Минский получил какую-то синекуру в лондонском полпредстве, а затем перебрался в Париж. Здесь он жил совершенным отшельником, никому на глаза не показываясь, всех чураясь. Он умер в 1937 году, и о его смерти не оповестили даже местные русские газеты. А ведь, если только подумать, подобного забвения он никак не заслуживал. Стоило бы только напомнить, что Ремизов писал, что за все его литературные годы он заметил сочлененность имен, их парность: когда произносишь одно, другое уже на языке, как кислород и водород, Анаксимен и Анаксимандр. А дальше, перечисляя ряд таких пар, Ремизов указывал — "Мережковский — Минский". Так, вероятно, и было во время оно. Но кто еще это может помнить?

\* \* \*

В одной из своих книг, касаясь Плотина, Шестов писал, что особенно важное и значительное говорится так, чтобы быть сказанным, но не быть услышанным. Такое утверждение, парадоксальное с первого взгляда, в такой же мере относимо к автору "Эннеад", как и к самому Шестову — автору "Власти ключей", "Фаларийского быка", "Скованного Парменида" и других трудов всегда с заманчивыми, не сразу расшифровываемыми заглавиями, почти ребусами.

Пристально изучая Плотина, которого он считал самым загадочным из когда-либо живших философов, Шестов призна-

вался, что с ним он никогда не расстанется, пока не "достранствует" до тех невиданных глубин, о которых в философской мысли принято думать, что их и не бывает.

Вероятно, как и его далекий учитель, Шестов всегда говорил как бы мимоходом и словно нехотя о том, что он больше всего ценил и внимательнее всего искал. Словно желая соблазнить и подразнить своих читателей, он не давал им окончательного ответа, нигде не ставил финальной точки.

Как писал один из его весьма проницательных критиков, "он погружал в самую глубину потока, но не выводил на берег". Читателю своих вполне "не обыкновенных", потому что ни с чьими несходных книг, он предоставлял самому выкарабкаться из водоворота своих умозаключений или самому искать какой-нибудь брод, местоположение которого он не указывал.

В ученой Сорбонне он читал лекции по философии и скорбел по поводу того, что на закате жизни ему суждено было превратиться в "профессора" и ему вместо "алгебры" приходилось переходить на "арифметику". Он жаловался на такую, с его точки зрения, "несообразность" близкому своему другу, Бердяеву, одному из очень немногих, с которым он был "ты", но с которым никогда не соглашался и с которым в данном случае у него получилась резкая размолвка: Бердяев относился к своему академическому званию с должным уважением.

А ведь в своем дневнике Шестов писал, что "не надо иронии — надоела. Не надо пафоса — в нем искусственность, он ничего не дает. Не надо спокойствия — оно симуляция. Что же надо? Не писать — это, пожалуй, возможно, но не думать — нельзя".

"Не думать нельзя". Но в том-то и была его нелегкая участь, что в его думах всегда ощущалась трудно скрываемая, всегда пробивавшаяся наружу тревога, перебрасывавшая его от Паскаля или Толстого к Достоевскому, Соловьеву или Кьеркегору, с которым он познакомился сравнительно очень поздно, но который, по его признаниям, его "страшно волновал"; никто не был ему так близок, как этот датский философ.

Говоря схематически, все последние труды Шестова основаны на его "страхе перед Ничто", на попытке этот страх отогнать, на попытке найти хоть какой-нибудь выход из "ту-

пика", на предпосылке, что если Бог существует, то все возможно или, другими словами, что Бог есть возможность невозможного.

Тем более знаменательно, что такой выдающийся богослов, как о. Сергей Булгаков почувствовал, что шестовский апофеоз беспочвенности и тем более все, что за ним следовало, таит в себе отблески ветхозаветного откровения, которое для него становится уже новозаветным. Несмотря на свой адогматизм, Шестов, отвечая Булгакову, подчеркивал, что для него противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми и как бы доказательством тому была его книга "Афины и Иерусалим" — к сожалению, вышедшая уже посмертно.

Последние годы жизни были для Шестова особенно тяжелыми. Он болел, писать ему было невмочь. После чтения газет, после всего, что до него так или иначе доходило — это был 1938 год — ему было тяжело от его "неучастия в истории" и его мысль направлялась уже к иному существованию, и он признавался, что подобно толстовскому Ивану Ильичу ему остается "только глядеть и холодеть" и характерно, что в эти предсмертные дни его почти невольно озадачивала — может быть, ранее не замеченная им — мысль о том, что толстовский рассказ заканчивается неожиданными, трудно объяснимыми словами, от которых не хотелось отречься, — "вместо смерти был свет".

Шестов прожил вполне необычную для писателя, особенно для русского писателя, жизнь, обстоятельства которой заставили его соединять занятия философией, которая была — что бы он ни говорил — его подлинным призванием и оправданием его жизни, с руководством крупным мануфактурным делом, запущенным его отцом, и ему надлежало наводить в этом деле порядок. Он жаждал оседлости, того покоя, который необходим для его занятий, а судьба заставляла его странствовать по всевозможным заграницам еще задолго до революционных бурь.

\* \* \*

...Само заглавие сборника "Начала и концы" для Шестова в значительной степени программно. Программно, потому что в течение всей своей творческой жизни он готов был утверждать

— "Все, только не середина", поясняя, что "середина не нужна не потому, что она сама по себе ни на что не годится. В мире вообще всякая вещь на что-нибудь годится. Но середина обманывает, ибо у нее есть собственные начала и собственные концы, она кажется похожей на все". Именно эта черта "середины" Шестову меньше всего улыбалась.

Писательская судьба Шестова сложилась настолько причудливо, что, вероятно, он был более популярен среди западных читателей, чем среди своих соотечественников. Произошло это не только по политическим причинам и не потому, что большую часть своей зрелой жизни он провел за границей, но скорее потому, что его философское кредо было более приемлемо западному мышлению, чем русскому мироощущению, для которого Шестов всегда был в каком-то смысле "еретиком".

Он проповедовал, что истина не имеет тех сил, которые нужны, чтобы истребить ложь... Впрочем, к этому полупарадоксу он добавлял, что, может быть, "истина вовсе с ложью и не враждует, может быть, она сама и породила ее на свет". Ведь не случайно одна из первых его книг была названа им "Апофеоз беспочвенности" и снабжена несколько вызывающим подзаголовком "Опыт адогматического мышления". А ведь русская философская мысль, к какому лагерю она бы ни принадлежала, адогматизма сторонилась. Весьма характерно, что в вышедшем несколько лет тому назад дельном обзоре "Русского религиозного возрождения XX века" имя Шестова фигурирует только вскользь, да и то в разделе библиографии.

Между тем, его труды, как самые ранние, так и написанные уже в Париже в его предзакатные годы, не только не устарели, но отчасти приобретают "вторую молодость". Может быть, именно теперь легче увидеть, насколько его мысль вневременна, насколько она может отвечать нашим духовным запросам, насколько бьет в точку.

Чтобы не быть голословным, процитирую хотя бы несколько фраз из его статьи — очень давней — о Достоевском. "Владимир Соловьев, — писал Шестов, — называл Достоевского пророком, и вслед за Соловьевым, часто совершенно от него независимо, очень многие смотрели на него как на человека, перед которым

лежали открытыми книги человеческих судеб. По-видимому, и сам Достоевский, если и не считал себя пророком (для этого он был слишком пронизателен), то во всяком случае, полагал, что всем людям следует видеть в нем пророка”.

Знал ли, добавляет при этом Шестов, что “история всегда отсекает головы пророческим предсказаниям, и тем не менее толпа гонится за прорицателями. Маловерная, она ищет знамения. Но разве способность предсказывать служит доказательством чудотворной силы? Можно предсказать солнечное затмение, комету, но ведь это кажется чудом только темному человеку” и дальше: “Люди ждали от Достоевского пророчества, потому что убежденный тон и громкий голос есть признаки пророческого дарования. Говорить громко Достоевский умел, умел и говорить тоном человека, знающего тайну, власть имеющего: подполье выучивает”. В этих фрагментарных мыслях о Достоевском как бы проступает оттенок злободневности.

Шестов утверждал, что его первым учителем философии был Шекспир и, только “насытившись” Шекспиром, он бросился к Канту. Но “Критика чистого разума”, и та не могла дать ответа на его вопросы, и его взоры обратились тогда в иную сторону — к Писанию. Но разве Писание может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами?

“Хотя Евангелие совершенно не мирится с нашими научными представлениями о законах природы, но оно не включает ничего противного разуму, — подчеркивал Шестов. — Чудесам не верят не потому, что они были немислимы. Наоборот, даже самому простому здравому смыслу совершенно ясно, что основа мира — чудо из чудес. Все горе в том, что людям мало видимых чудес”.

Эти несколько строк помогают расшифровать Шестова-философа, весь трепет его неустанных блужданий, который позволил окрестить его скептиком и пессимистом, хотя, по его признанию, услышав эти клички, он “протирает глаза от удивления”.

“Разве человек, который жаждет истины и не называет истиной первое встречное заблуждение — скептик?”, — не без иронии замечал Шестов, добавляя, что “положение науки, го-

ворящей, что законы природы ненарушимы, сосуществует — вопреки логике — с противоположным положением, что законы природы могут быть нарушаемы”, и именно это заключение ему особенно близко и дорого.

Он до своего конца оставался искателем истины, но никогда не “готовой”, предпочитая академическому философствованию, которое не считал даже “предпоследним” словом, менее проторенный и, может быть, более “веселый” свой собственный путь. Ему было не по душе повиноваться “голой” логике (“логические законы только болезнь бытия”), то есть, логике, созданной наподобие математических формул, с которой он боролся по-шестовски построенными силлогизмами, и в них, в первую очередь, пытался отделаться от каких-либо туманностей и недоговоренностей.

Собственно, он был человеком одной, упорно в нем засевшей мысли. От одной книги к другой, от изучения одного близкого ему мыслителя к другому, он хоть и находил для своей основной идеи новые одеяния, ее ядро оставалось неизменным: вместе со все возраставшей тревогой за будущее он вел бой с разумом и идеализмом. Как бы комментируя своих “учителей” — Плотина, отчасти Августина, Паскаля, Кьеркегора, не говоря о Толстом и Достоевском, питаюсь ими, во всех писаниях его больше всего чувствовался он сам, провозгласивший, что “нам больше всего нужно все, что запрещено разумом и совестью”, тут же добавляя и почти сам себе противореча — “мы должны искать то, что поверх Добра — мы должны искать Бога”. Но шестовский Бог был Богом изменчивым и непостоянным, как все живое. Оставаясь неким “рыцарем свободы” и, может быть, чуть-чуть Дон-Кихотом от философии, Шестов по существу отталкивался от всех церквей, не чувствуя себя ни в одной из них окончательно “дома”.

“Когда Диоген сказал Платону: “льва я вижу, но не вижу львиности”, Платон ему ответил: “Чтобы увидеть льва, нужен, действительно, особый орган, но чтобы увидеть идею льва, не нужно никакого органа”. Этот диалог где-то цитирует мудрый Шестов, и чудится, что сам он чувствовал “львиность” (или, как у Шекспира — “тень от льва увидел прежде льва”) до того, как

узревал самого льва, и в этом и заключалась его специфичность. Не дорожа "низкими истинами", он отталкивался и от "возвышающего обмана". Всю жизнь он искал ответа на безответные вопросы и приходил к выводу, что единственная подлинная истина в том, что разуму на земле нечего делать, потому что никто толком не знает, действительно ли дважды два — четыре, а не пять или сто пять.

Мы вступили теперь в эпоху, когда все "вчерашее" кажется устаревшим и примитивным, когда иным представляется, что новая культура при помощи автоматизации может вырасти на пустыре. Каким далеким еще недавно нам, русским, мог казаться тот период литературной жизни, который принято называть "серебряным веком". Но постепенно все более созвучным и близким этот век становится для молодых поколений. Это тем более относимо к книгам Шестова, потому что они никогда не увядали, не теряли своего "перца", хотя бы благодаря классичности его прозы, пенистости стиля, редчайшей в русской словесности афористичности, показывавшей, что он всегда оставался великим иронистом и мастером сарказма.

\* \* \*

То мерещится, что ушел он от нас совсем недавно и мы ощущаем его почти нашим современником, то представляется он человеком с канувшего в небытие материка, поэтом, для многих уже ставшим "ненужным", кое-кому непонятным.

Толком неведомо мне, как был отпразднован этот юбилей на его родине. "Бронзы многопудье" на какой-либо площади советского города, даже в его родном Петербурге-Ленинграде, было бы поистине неуместно и, может быть, даже для памяти *Блока* оскорбительно. Но если на юбилей должным образом не отозвались официальные инстанции, то, без боязни ошибиться, можно предполагать, что его почтили в читательских и литературных кругах, а ценнейшая память об этом событии — тома "Литературного наследия", лучшего и единственного в своем роде советского литературоведческого издания.

Лично меня особенно заинтересовала переписка Блока с *Ремизовым* (90 писем) оттого, что с *Ремизовым* я был близко

знаком, чуть ли не в течение сорока лет навещал его и хочу отметить, что, несмотря на свою неизменную и часто наигранную лукавость, на желание по любому адресу пустить "словцо" или язвительную кличку, на моей памяти Блок был единственным, о ком он никогда не проронил ни одного ни иронического, ни критического замечания. Если бы я не боялся громких слов, я бы сказал, что у *Ремизова* был подлинный "культ" Блока, который с годами только усиливался, и должен покаяться — я даже иной раз подозревал, что в этом *ремизовском* "пиэтете" по отношению к Блоку таится известная "поза", некоторая, пускай микроскопическая, капля лицемерия.

Что, собственно, толкало одного к другому? Вспомним хотя бы, что, когда Блок писал поэму "Двенадцать", *Ремизов* сочинял "Слово о гибели земли русской". Да и в житейском, в чисто физическом плане они были, как казалось, настолько противоположны, что в первую минуту нелегко отгадать, где точки их соприкосновения. И к тому же, как несхожи были между собой *Любовь Дмитриевна* с *Серафимой Павловной*, женой *Ремизова*...

В несметном списке *ремизовских* изданий значится книжечка, названная им "Ахру", что на "обезьяньем" языке означает "огонь". Книжечка настолько маленькая, что ее легко засунуть в жилетный карман. А была она написана сразу же после смерти Блока, собственно, это был отклик на его смерть. *Ремизова* взволновало совпадение: Блок умер в то самое "седое и туманное" утро, когда *Ремизов* где-то под Нарвой пересекал границу советской земли, оставляя ее навеки.

Книжица эта, замечу в скобках, мне особенно запомнилась, потому, что она в моей жизни сыграла некоторую роль. Краткая рецензия на нее, написанная по просьбе самого *Ремизова*, заключала первые мои строки, появившиеся в печати, а ведь это режется в память, как первая любовь!

Но вот теперь мне чудится, что в самом "обезьяньем" названии книги заключено что-то излишне шутовское, даже чуть шутовское. Чтобы писать о петербургской страде начала 20-х годов и поминать Блока было бы более уместно другое обрамление. Тем не менее и сейчас, как и в мои молодые годы, я чувствую, что эта желтенькая с такой любовью-горечью написанная па-

мятка, хоть и будет ни к чему людям, восседающим на кафедрах и копошащимся в текстах, но читательскому сердцу она даст не меньше многих увесистых воспоминаний о том Блоке, который, по словам Ремизова, "был вроде как не человек" и которому "что оставалось делать на земле", когда он существовал лишь "взвихрившись высоко над ней, над всем ужасом услышав надсферную музыку", а "наступили серые, долгие, тупые дни".

Если вдуматься в эти ремизовские слова, то тем более назидательно будет ознакомление с перепиской этих двух выдающихся представителей той литературной среды, воздухом которой уже никто и никогда дышать не будет. Да еще к тому же это были друзья, один из которых, по собственному признанию, был "гостем в этом чудесном мире" и ему особенно была по душе его "бессмыслица" и "без-образие", а другой "изгнанником, который всю жизнь был мучим тоской" и не мог ее скрыть, и она пронизывала каждую его строчку... как, может быть, пронизывала каждую вязью написанную строчку Ремизова.

Познакомились они в 1905 году, но подлинная их дружба завязалась несколькими годами позже и, как всякая дружба, шла скорее зигзагами, чем по восходящей прямой. Уже в первом письме Ремизова Блоку можно ощутить наставительные нотки. Он только-только прочитал "Стихи о Прекрасной Даме" и сразу: "Почему вы не назвали книгу "Стихи о прекрасной деве"? "Дама", — писал Ремизов, — в глубинах духа — "Geist'a" — русского языка никогда не скроется".

А чуть позже Блок прочел ремизовский "Пруд" ("неудобочитаемый от скуки", замечает он в своей записной книжке) и пишет автору: "Начитался (какое на редкость подходящее и точное слово) "Пруда", охватило чувство скорби и запах... к ночи читать страшно". И потом: "Вы испортили себя для меня "Прудом" года на два". Хоть Блока и отталкивали ремизовские "ужасы", но все же теплые отношения между ними возобновились и углублялись.

Блок ценил ремизовские письма, любил их получать и некоторые из них даже читал своим близким вслух, но свои, адресованные Ремизову, он намеренно "подсушивал", чтобы не впадать в тон ремизовской "игры". Ремизовские "обезьяньи"

грамоты он считал инфантильными признаками некоей униженности, которую надлежит принять, потому что вытравить ее невозможно.

Блок написал однажды своему корреспонденту: "У нас кухарка заболела..." Ремизов придал этой незначущей житейской фразе какой-то второй или третий смысл, сделал из нее некую мистерию, ведь именно мистицизм в повседневности их больше всего роднил и сближал. Но Блок с тех пор, видимо, побаивался повторения.

При этом, если ремизовская "игра" была чужда Блоку, то ремизовские "чертенята", его способность как бы выставлять наружу скрытое в природе вещей безобразие, ремизовская спаянность со стихией устной речи — все это пленяло его, как и ремизовская примиренность с жизненным уродством, с обреченностью, с ущербностью. То, что у Ремизова, как и у Блока, темные начала жизни были связаны с мещанством, сближало их, и Ремизов, несомненно, сыграл значительную роль в формировании у Блока идеи Родины. Недаром в посвященном Ремизову стихотворении из "Пузырей земли" можно было найти такие впоследствии Блоком выпущенные строчки: "Неотлучен ты и сам / От ночных работ... / Опрокинуты бы нам / В ржавчину болот! / ... / Если б я хотел тонуть, / Ты бы не пустил..." Да тут едва ли можно сомневаться, при всей своей хилости Ремизов бы "не пустил".

А как по-своему красноречивы лаконичные приглашения Блока: "Хочу вам прочесть пьесу — наконец, ее кончил". Разговор шел о "Песне судьбы", в которой — Блок это знал — Ремизова заденут слова: "...Мы пойдем в толпу и будем наблюдать людскую тупость..." Или как трогательны и в своей краткости убедительны такие почти односложные записки: "Вспоминаю о вас и соскучился о вас" или "Спасибо, я вас очень люблю".

Встретились они полуслучайно в Париже в 1913-м году и в один голос, несмотря на некое общее им "неославянофильство", противопоставляя культуру России и Запада, преклонялись перед "великими ценностями Запада", его "священными камнями". Их объединяло то, что у обоих была

”ненавидящая любовь” (словно по катулловскому *”Odi et amo”*) к России, но у Блока — к России будущего, которое ему мерещилось, у Ремизова — к ее прошлому, которое не вернуть.

С чьих-то слов Ремизов рассказывал: ”Вошел ко мне Блок и что-то такое...” А это ”такое”, комментирует Ремизов, было именно тем, что отличало ”нечеловеческого” человека от всех других. У него и ухо какое-то другое, не наше, он слышит музыку, не инструментальную, а ту, о которой в ночь после убийства Шингарева и Кокошкина он по телефону — еще он действовал — сказал: ”Над всеми событиями, над всем ужасом слышу музыку и пробую писать”. А вскоре: ”В таком гнете писать невозможно”.

Как прав был Ремизов, когда, обращаясь к Блоку, воскликнул: ”Была вам недаром дана вихревая песнь о взбаламученной, вздыбившейся России, а мне погребальная над краснозвонной отошедшей Русью”. Точнее не скажешь.

\* \* \*

Милая, милая, единственная в своем роде *Тэффи*, и как хорошо, что кому-то пришло в голову переиздать оставшуюся едва замеченной книгу воспоминаний, вышедшую почти полвека тому назад и ставшую библиографической редкостью.

Говорят, что рассказы Тэффи по вечерам любил читать вслух Николай II. Говорят, что высоко ценил их Ленин, хоть к юмору едва ли особенно восприимчивый, но все же рекомендовавший переиздавать их. Мало ли что говорят... Как проверить? Но несомненно, что мы с вами, дорогой читатель, любили и любим ее рассказы, всегда на высоком литературном уровне, остроумные, живые, всегда с какой-то поволокой, с лирической грустью, с некой слезой сквозь смех. Тэффи, может быть, единственная из отечественных юмористов первой половины нашего века никогда не впадала в вульгарность. Даже пошлости она умудрялась описывать, в пошлость не впадая, как бы сама от нее отстраняясь, ее остерегаясь.

Но иное дело произведения ”большой формы”, которая оставалась для Тэффи непривычной. Ее перо было по существу чуждо долгому и плавному течению, как был ему чужд ее отчасти капризный темперамент. Ведь действительно трудно представить себе Тэффи, работающую над составлением какого-то плана, собирающую материалы, обдумывающую скелет какого-нибудь романа, его ”либретто”. Ее сила, ее очарование были в моментальном снимке, в смешке, иногда даже в гримасе, в том, что в переводе на язык сцены именуется ”скетчем”, иногда гротеском.

А ведь книга ее воспоминаний повествует об очень трагических переживаниях и наблюдениях, касается исторически недалекого прошлого, но сегодня кажущегося уже неизмеримо далеким и едва правдоподобным. Мне самому не верится, что будучи еще желторотым, я совершил какую-то часть Тэффиного пути, мог быть свидетелем того, что она описывает. Свежо предание...

Воспоминания Тэффи, собственно, охватывают очень краткий отрезок ее жизни — жуткий путь из ”варяг в греки”, из ее родного Петербурга, который она вынужденно оставила, потому что ее петербургское жите-бытие было ликвидировано, газеты и журналы, в которых она годами сотрудничала, точно по мановению палочки — зазорно было бы назвать ее ”волшебной” — закрыты и, как она писала, оказалось, что у нее ”перспектив никаких”.

Через Москву, Киев, Одессу, Черноморье путь ее шел к берегам Турции — путь трагический, полный волнующих эпизодов; путь, который до нее, рядом с ней, после нее совершили тысячи и тысячи других беженцев, не сумевших приспособиться к тому, что происходило на ”земле отцов” и не желавших с ”историей” примириться.

И, может быть, наиболее примечательное в книге Тэффи именно то, что, описывая все трагические перипетии своего зигзагообразного маршрута, когда, казалось, было неизвестно, что будет через день, если не через час, когда было неизвестно ”кто кого”, она все же старается не уклоняться от улыбки, от своей характерной усмешки и, получая при сдаче проигрыш-



ные карты, остается с наигранно веселым лицом. Она была до конца фаталисткой и, может быть, ее самообладание и помогло ей в каком-то смысле "выйти сухой из воды". Недаром Тэффи вспоминает, что какой-то ее случайный собеседник — профессиональный акробат — действительно рекомендовал ей: "Когда идешь по канату, никогда не следует думать, что можно упасть — нужно верить, что все удастся, и напевать".

Ее эпопея началась с того, что некий предприимчивый импресарио уговорил ее попытаться — "как все" — ехать на юг для устройства там ненавистных для нее эстрадных выступлений, соблазняя тем, что в этом "тридесатом царстве" можно было вдоволь поесть "пирожных с кремом". Тэффи показалось, что, действительно, хорошо переменить климат, покинуть Москву на какой-нибудь месяц, не видеть больше очередей у молочных лавок, "в окнах которых выставлены сапоги".

Этапы на ее беженском пути едва исчислимы, как едва поддаются учету все вечера, которые умудрялся устраивать ее импресарио. Но одно было неизменно: ей всюду оказывали теплый прием, всюду ее выступления сопровождалась громкими аплодисментами и всюду слышались идущие от чистоты сердца возгласы: "Милая вы наша! Любимая! Дай вам Бог выбраться отсюда поскорее..." Симптом довольно зловещий...

Можно, пожалуй, счесть некоторым изъяном книги то, что, вспоминая даже трагические происшествия, политые человеческой кровью, которым она была невольной свидетельницей, она для их описания не меняет "ключа", пишет о них иногда предельно протокольно, не нажимая ни на какие драматические педали.

Как при этом не вспомнить, что в начале журналистской работы Тэффи, когда ее хотели посадить на злободневный фельетон, прозорливый Влас Дорошевич — непоколебимый авторитет в газетном мире дореволюционной России — сказал: "Оставьте ее в покое, пусть пишет о чем хочет и как хочет". И добавил: "Нельзя на арабском коне воду возить".

Эти вещи слова Дорошевича надо непременно помнить,

читая тэффины воспоминания и потому нельзя негодовать на нее за то, что об "окаянных днях", о своем "окаянном" странствии она пишет без возмущения, без театральных "ахов и охов", то и дело передразнивая корявый язык своих собеседников и этим как бы заслоня от читателя всю жуть описываемого.

Киев, Одесса, Новороссийск — время было трудное, одна власть сменялась другой, там появлялись петлюровцы, здесь угрожали "зеленые", иногда отдельными кварталами города овладевали банды какого-то Мишки Япончика или атамана Григорьева и, по словам Тэффи, в Одессе стала модной фраза, которая вполне точно определяла положение: "Ауспиции тревожны". Да ведь подлинно какой бы ломаной линией ни шел дальнейший путь Тэффи — продвигалась ли она на поездах, или на пароходах, или даже где-нибудь могла осесть — "ауспиции", предзнаменования, всегда были тревожны, а беззаботные "антракты" по самым разным причинам всегда кратковременны.

Покидая Киев, Тэффи зашла в Лавру, чтобы с нею попрощаться, и ветхий монах продал ей образок Богоматери, через узкое горлышко невестимо как вклеенный в плоскую бутылочку. Этот образок уцелел у Тэффи среди всех ее странствий и до ее последних дней стоял на камине ее последней парижской квартиры. Можно только позавидовать, что Тэффи верила в его спасительную силу.

Почти чудесным образом при эвакуации Одессы, когда уже один за другим отплывали от берегов набитые сверх меры пароходы, держа курс в неизвестную пассажирам даль, Тэффи — почти "нечаянно" или, вернее, "не чаянно" — удалось приютиться на "Шилке", жалком суденышке, которое должно было идти во Владивосток, но пришло в Новороссийск и, по мнению морских экспертов, дальнейший его путь был заказан: "Шилка" должна была неминуемо развалиться при встрече с первым штормом. Между тем, капитан "Шилки", некий Летучий Голландец, оказался для Тэффи своего рода ангелом-спасителем. Он не только приютил ее на своем корабле во время новороссийской стоянки, но и вывез в опасный

момент и благополучно доставил на какой-то иноземный берег, который тогда показался ей "обетованной землей". Как при этом трагически звучит замечание, записанное Тэффи в пасхальную ночь: "Как мы все забыли время, не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве". Они плыли на "Шилке" в неизвестность, не зная в злую или добрую, и Тэффи цитирует себя:

К мысу радости, к скалам печали ли  
К островам ли сиреневых птиц —  
Все равно — где бы мы ни причалили  
Не поднять мне тяжелых ресниц...

Не будем придирааться к качеству стиха, но эти строки Тэффи словно закупили в засмоленную бутылку и бросила ее в море, а бутылку кто-то подобрал, раскупорил и через несколько лет с эстрады парижского концертного зала прочел эти строки, уже положенные на музыку. Для Тэффи в них было, пишет она, такое же очарование как если бы среди вечных снегов, у края мертвого глетчера она увидела крошечный, бархатистый эдельвейс или... и в этом вся Тэффи — на незнакомой улице чужого города встретила неизвестную даму, которая своим уютным киево-одесским говорком сказала бы: "Ну, что вы скажете за мое платье? Я вас видела в Киеве, я Серафима Семеновна..."

Как часто упрекают писателя, говорит в заключении Тэффи, что конец повествования скомкан и как бы оборван. Вероятно, это действительно так, и Тэффи слишком хорошо знала, что писатель творит по образу и подобию судьбы, и все концы всегда спешны, сжаты и оборваны.

"Глазами широко, до холода в них, раскрытыми смотрю — и не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки и всегда буду видеть, как тихо, тихо уходит от меня моя земля".

Этими патетическими словами закончила Тэффи свою книгу воспоминаний. Они предельно точно передают состоя-

ние автора, хоть, может быть, не вполне вяжутся с насмешливым описанием иных героев книги, с утрированной передачей их говорка, что часто мешает к этим неплохим по существу людям подойти с должной объективностью. Едва ли Тэффи хотела их высмеивать, ведь в ее скитаниях, на первых порах ее беженства, по какой бы кривой ни шел ее путь, при неизменно "тревожных ауспичиях" — они только хотели ей помочь, и этим смешным, полуанекдотическим людям следует выразить посмертную благодарность. Едва ли весело могла сложиться их судьба.

\* \* \*

Литературная судьба "присяжного" юмориста, как правило, незавидна, и, вероятно, в писательской среде это в каком-то смысле наиболее неблагоприятный жанр, потому что слава авторов юмористических произведений, если только в них чувствуется крупица таланта, вспыхивает подобно бенгальскому огню, но не менее быстро угасает. Оттого почти все юмористы в известной мере неврастеники, вечно чем-то недовольны и в общении сумрачны. Они сравнительно легко создают себе имя, но ведь читатель — эгоист и непременно ждет, что чтение любой вещи, под которой красуется полюбившаяся ему подпись, непременно приведет его в хорошее настроение и заставит забыть об окружающей серости. Читатель не желает думать о том, что, может быть, у автора, пока он, проклиная свою судьбу, сочинял свой веселый фельетон или стишок, на душе кошки скребли. Недаром мудрые греки не подумали о музе, которая олицетворяла бы юмор.

Почти наперечет случаи, когда юмористическое творчество не теряет свежести и сохраняется в той копилке, которая именуется "историей литературы". Да это и в порядке вещей, потому что, как талантливо бы ни было произведение, то, что смешит сегодня, завтра способно лишиться своей

первичной остроты. Если бы Антоша Чехонте, подписавший таким весьма неудачным псевдонимом ряд подлинно замечательных рассказов, увидевших свет на страницах полупочтенных "Будильников", не преобразился в Антона Павловича Чехова, в сознании читателя его литературное наследство несомненно поблекло бы, а возможно, было бы просто забыто. Ахиллесова пята любого юмориста — едва ли не начиная с Лукиана, который за два века до нашей эры с усмешкой "расправлялся" с богами и героями, — в том, что кажущееся смешным и забавным ему самому и его современникам спустя какой-то промежуток времени может представляться ничемным и вызывать зевоту. А ведь в юмористическом произведении труднее трудного и, может быть, даже невозможно отрешиться от злободневности.

"Городок" — первое издание которого появилось в 1927-м году, у читателей имело настолько большой успех, что книга оказалась быстро распродана, а это было в диковинку для зарубежной книги. Писался этот "Городок" в самые первые годы эмигрантского жития и только последняя его часть, озаглавленная "Далекое", повествовала о чем-то, сразу же ставшем баснословно далеким, даже едва ли бывшим и, пожалуй, диссонирующим с тем, что создавалось в Париже.

Тэффины гротески были шаржированным отражением действительности, но при этом они никогда не были жалищими, и даже у читателя, который сам узнавал себя в каком-нибудь из рассказов "Городка", не возникало озлобления — может быть, еще и оттого, что Тэффи никогда не проповедовала раздражающей прописной морали. Так наяву происходило, и все тут...

Но вот все кругом переменялось, "те далече" — и то, что в свое время потешало, способно сегодня вызвать гримасу, и молодые поколения едва ли в силах оценить незлобивый юмор Тэффи, разгадать при каких обстоятельствах и на основании каких наблюдений сочиняла она тот или иной из своих рассказов-коротышек.

Да, действительно, мало прельщали ее "серьезные сочинения", которые, покаюсь, и мне неведомы, но зато среди многочисленных поклонников ее таланта можно было бы назвать императора Николая II (она сама не без оттенка гордости об этом рассказывала), или Ленина, который настаивал, чтобы иные ее рассказы перепечатывались на страницах советской прессы (конечно, без уплаты гонорара!)

Во всех рассказах Тэффи и даже в ее неудачных с точки зрения большой поэзии, но все же "милых" стихах, всегда просвечивает жалость к человеку, ощущается жалость к своему герою, каким бы он ни был, своеобразная к нему нежность.

Перечитывая сегодня "Городок", можно легко обнаружить, что Тэффи несомненно была самым тонким, самым зорким и самым талантливым из русских юмористических писателей нашего времени (кстати, после революции этот жанр вообще, вероятно, по прихоти цензоров "выветрился", стоит при этом только напомнить о случае с талантливейшим Зоценко). Теперь даже непонятно и почти неловко, что когда-то, в дореволюционную эру, имя Тэффи ставилось рядом с именем Аверченко, одно из них как бы сопоставлялось с другим, а ведь Аверченко всегда оставался пошловатым и примитивным, скорее гогочущим, нежели смеющимся.

В противовес редактору "Сатирикона", которому за его редакционную работу, конечно, следует воздать должное, в рассказах Тэффи всегда был какой-то второй план. Даже когда она писала о переделках, перешивках, перекройках и перелицовках в любом значении этих "низменных" понятий, она никогда не расставалась с "голубым цветком" романтизма. В ее описании нелепостей жизни русского городишки на Сене всегда сохранялась улыбочивость, она всегда предпочитала "хэппи энд" и когда, как бы сама над собой потешаясь, утверждала, что большая часть населения этого городка "занималась преимущественно долгами и мемуарами", причем разница между мемуарами заключалась в том, что "одни писались от руки, другие на пишущей машинке", она себя из числа этих мемуаристов не исключала. В "Городке" она окарикатурировала русский Париж, вызывая у читателя одновременно и смех, и слезу, но каждая ее

страница была окутана нежностью, точно шубкой, и недаром в двух последних ее книгах, из которых одна названа "О нежности", а другая — "Все о любви", оба эти чувства неизменно сливаются и друг от друга неотделимы.

Но прошли годы, и Париж стал родным ее городом, в котором она прожила чуть ли не полжизни, стал чем-то прижившимся, и Тэффи стала уже забывать о быте провалившейся нашей Атлантиды, о милой старой жизни, детали которой, словно балуя память, неожиданно появлялись перед ее глазами, "выкидывая какой-нибудь осколок, обрывок из затонувшего, навеки погибшего мира", и тогда она начинала всматриваться в него с грустью и умилением.

Ведь давно-давно умер тот ставший легендарным русский генерал, который, очутившись под самым Обелиском на площади Согласия, озадаченно посмотрел вокруг себя и произнес крылатые слова: "Это хорошо... даже очень хорошо... но ке фер? Фер-то ке?" Даже на несносные вопросы, в конце концов, нашлись ответы, и новые герои Тэффи пообжились и как-то пристроились.

Но какими бы они ни были, Тэффи любила их, как любила общество, любила гостей и, по мере возможности, любила принимать у себя "чохом" или каждого в отдельности, приглашая к себе людей самых различных мастей, друг другу ни в чем не соответствовавших и, казалось, не имевших между собой ничего общего. Между тем, в ее гостеприимной комнатухе за чашкой чая и самодельным пирогом, изготовленным при помощи одной из ее подруг, всегда рождались общие темы, а если разговор грозил затихнуть, то Тэффи наподобие Анны Павловны Шерер двумя-тремя словами заставляла его разгореться ярким пламенем.

Но годы шли один за другим, и хоть Тэффи продолжала любить жизнь, любить эту планету и ее обитателей, ее материальное положение все обострялось, а здоровье все ухудшалось, к тому же друзей становилось все меньше и меньше, один за другим они опережали ее, покидая сей юдольный мир.

Я не был в Париже в годы ее умирания и узнал о ее смерти из газет. Но вот, чтобы найти какую-то справку, я взял в руки ее книгу "Зигзаг" и на первой странице прочел надпись, написанную

ее дряблым почерком: имяреку и дальше после нескольких теплых слов приписка — "не забывайте меня".

Могут ли забыть ее те, которые с ней общались? Могут ли они забыть искристость ее разговоров, интерес ко всему, что ее окружало, даже к будничным мелочам, даже к "сплетням"? Не зря же одна из ее героинь, некая Дэзи, описывая которую Тэффи указывает "мы обе живем своим трудом, я пишу рассказы, а Дэзи занялась свитерами", в конце длинного с ней разговора и ряда "деловых" советов, которые дает ей не сведущая ни в какой коммерции Тэффи, восклицает: "Дорогая! Как вы хорошо на меня действуете, посмотрю на вас и успокаиваюсь: живут же люди бестолковее, чем я, и все-таки кое-как держатся. Дайте я вас поцелую". Этот поцелуй Тэффи подлинно заслужила.

\* \* \*

Недалеки от нас дни, когда как на пример долговечности всякий раз указывали на Тициана, который будто бы с кистью в руках скончался в восьмидесятишестилетнем возрасте. А вот теперь нам, земным старожилам, то и дело приходится поминать друзей и знакомых, словно только вчера нас покинувших, но которым, будь они еще живы, пришлось бы в именинном торте задувать сто свечей.

Кажется мне, что еще совсем-совсем недавно я пил чай в садике того совсем непарижского стиля домика, в котором, овдовев, поселился у своей дочери Борис Константинович *Зайцев*. До того я много лет его не видел, но когда он вышел мне навстречу, и мы расцеловались, по внешнему виду я едва ли мог бы определить его возраст. Да, он заметно похудел, передвигался с палкой, но разговор его был таким же "сочным", как и полвека до того.

Я тогда работал на радиостанции, и мне хотелось, чтобы для наших передач он написал какую-нибудь заметку о Достоевском, приуроченную к 150-летию со дня рождения писателя. Уговаривать его мне не пришлось, но зато он был точно уязвлен, когда я спросил его, сможет ли он сам прочитать в магнитофон им написанное. Я сказал, что в таком случае пришлю для записи техника к нему на дом. "Нет, зачем же, лучше говорить в

студии". А было это примерно за год до его кончины, и шел ему тогда 92-й год.

Мы принадлежали к разным поколениям, а между тем, хоть мы далеко не во всем сходились, у меня при общении с ним никогда не было ощущения, что говорим мы на разных языках. Как часто бывает в жизни, дружеские отношения движутся по спирали. Пользуясь музыкальной терминологией, они идут то "крещендо", то "диминуэндо". Бывали периоды, когда я довольно часто встречался с Зайцевым и его женой, Верой Алексеевной, бывшей скорее его "Путеводителем по жизни", чем его Эгерией, женщиной ни с кем не схожей, трогательной и участливой, иногда колючей на язык. А затем от одной встречи к другой проходили года. Память, вечная изменница, многое затушевывает, но зато и многое сохраняет из того, что могло бы показаться незначашим.

Вспоминаю берлинское зайцевское пристанище: должно быть, две комнатки, снятые у какой-то полуразоренной инфляцией квартирохозяйки, развесившей по стенам вышитые крестиком дешево-добродетельные афоризмы. Зайцевы жили здесь точно на бивуаке, и тем не менее, у них всегда бывало уютно, приветливо, и не успел еще выветриться привезенный с собой особый арбатский аромат.

А вот авторская надпись на книге "Усадьба Ланиных" напомнила мне, что для отдыха от бесчисленных корректурных гранок (Зайцев переиздавал тогда собрание своих сочинений да еще выпускал несколько новых книг) мы состязались с ним в шахматы в одном из соседних кафе.

Вспоминаю и неделю, совместно проведенную на каком-то захудалом балтийском пляже под вечно морозящим грязно-серым небом. Передо мной письмо Веры Алексеевны, зов и некое предупреждение: "Борису, — пишет она, — здесь страшно не нравится, красивых женщин нет, но если приедете, устроим". Несмотря на малозаманчивые перспективы, я все-таки отважился и не пожалел. Было так интересно послушать из уст Зайцева рассказы о еще совсем недавних предотъездных месяцах в Москве-не-Москве, о его "приказчицкой" работе в писательской книжной лавке, о "пасти львиной", как по долгу председателя

писательского союза он именовал хождения в Кремль к "самому" Каменеву, тогда всесильному.

Потом в памяти провал и вслед — воспоминание об одном из парижских новогодних писательских балов, когда почти под утро Зайцев подвел меня к стойке, за которой Бунин опорожнял рюмку коньяку. Он меня с ним познакомил и кто мог тогда предвидеть, что это знакомство окажется для меня providенциальным? Помню также, что потом мы должны были убить несколько часов, потому что рано утром из Италии приезжало зайцевское семейство, а я обещал не оставлять Бориса Константиновича одного. На вокзал мы прибыли небритые, в смокингах, после бессонной ночи с воротничками шарманкой. Что можно было о нас подумать?

Вспоминаю затем то обиталище, которое Зайцев довольно прозрачно описал в романе "Дом в Пасси". В книге не раз просвечивают автобиографические черты и сквозь "странный" быт, вызывающий недоумение французских соседей, остро чувствуется присутствие России — новой, старой? — скорее, вечной.

А потом Зайцевы уже надолго осели в Булони под Парижем, в квартире, в которую нужно было подыматься в допотопном лифте, наводившем страх на людей, к нему не привыкших. Но в этой скромной квартирке все всегда было в отменном порядке, и в кабинете писателя, на его письменном столе неизменно висилась стопка белой бумаги, которую он постепенно заполнял почти каллиграфическим почерком и одна-две книги, необходимые ему для очередных справок. А над столом, на стенке — портрет Данте, если не ошибаюсь, кисти Андреа дель Кастаньо.

А как не вспомнить подлинную веху в жизни Зайцева — многолюдное празднование двадцатипятилетия его литературной деятельности, ставшее в некотором роде событием в жизни всего русского зарубежья, потому что это был редчайший случай, когда поздравить юбиляра пришли "старцы" и молодые, блондины и брюнеты, литераторы и люди литературе чуждые, "зубры" и либералы. Нужно учесть обстановку тех лет, чтобы оценить значимость такого сборища.

Я особо упоминаю это празднество, чтобы подчеркнуть, что творчество Зайцева в какой-то мере всех объединяло и никого не

отпугивало. Хотя, собственно, он никогда не ощущал себя "над схваткой" и в чем-то всегда был упрямо непреклонен, неприспособлен к компромиссам, но умел дипломатично сторониться эмигрантской "грызни".

В своих помыслах он всегда оставался москвичом с Кривоарбатского — вероятно, давно не существующего — переулка. Как тут не воскресить зайцевский силуэт, импрессионистически набросанный Андреем Белым в его воспоминаниях. "Зайцев, — писал Белый, — примирял очень резкие противоречия литературных платформ. Тихий, весь розово-легкий какой-то, с отчетливо иконописным лицом, с козлиною русой бородкой, совсем молодой, он казался маститым и веским — и вдруг, стиль византийский нарушив, опомнившись, свой кипарисовый профиль закинет и так иконно сидит..." В строках Белого, даже если в них можно ощутить налет шаржа, выступает портретность, и, делая поправку на годы, события, переживания, можно, пожалуй, утверждать, что, даже когда Зайцев свою бородку сбрил, "кипарисовый" профиль еще у него оставался, и "византийский" стиль, хоть в малую толику, им соблюдался. Маститость и вескость, естественно, с годами усиливались, но надлежит тут же добавить, что она ни в коей мере не была синонимом важности или недоступности. Может быть, в Зайцеве не было той непосредственности в отношениях, которая была свойственна Бунину или Ремизову. Он никого по плечу не хлопал, но и не терпел никакого панибратства.

Он был глубоко религиозен, религиозен по-церковному, но был искренне терпим и, как мне кажется, жила в нем религия сердца, скорее чем религия ума или чувства. Это отчетливо сказывается в описаниях двух его путешествий: на Афон и в ладожский монастырь, что на Валааме. Он вернулся с этого островка какой-то "ушибленный", потрясенный виденным, сознанием того, что кротость еще где-то в этом мире затесалась. Оголенность этого небольшого монастыря, его скудость он мысленно противопоставлял природной роскоши и яркости излюбленных итальянских пейзажей и, может быть, хоть он сам себе и не признавался, белые ночи и холодное лето оказались ему ближе, чем "адриатические волны и Брента", которые он не

переставал лелеять.

Литературные вкусы Зайцева были шире, чем у многих его сверстников и, к примеру, Блок ему был во многом далек, иногда даже враждебен, но Блока он не только принимал, но по-настоящему ценил, как принимал все чудачества Белого, понимал их природу, прощал ему все его вывихи.

У Зайцева рано выработался свой стиль, свой почерк, и это сказывалось не только в злоупотреблении инверсиями, в пристрастии к многоточиям и недосказанностям, но и в целомудренном отношении к своей теме. Все или почти все писавшие о нем, как правило, твердили о его "акварельности". Заново перечитывая некоторые его книги, публикуемые теперь его письма, вспоминая иные разговоры, мне представляется, что в применении к нему, это набившее оскомину понятие "акварельность" не всегда оправдано. Я перечитал его "Анну", вероятно, его "капполаворо" (он так любил это итальянское слово) и был поражен, что в повести о судьбе свиновода Матвея Мартыновича не ощутить ни одной сентиментальной нотки. Вся она, как и сама фигура Анны, написана густыми масляными красками. Да и творчество раннего Зайцева, хотя бы взять такие рассказы, как "Елисейские поля" или еще "Актриса", или "Смерть" (смерть не абстрактного Ивана Ильича, а вполне конкретного Павла Антоновича), можно подытожить одной его фразой: "Да, среди невзгод и скорбей жизнь дарит нам иногда незабываемые мгновения. Верно, когда придет наш конец, мы вспомним о них. И если скажем: девять десятых пропало, но одна сотая вечна — то и за нее умрем спокойно". В этих словах отразился весь Зайцев, сказался лейтмотив всего его творчества, и такому ощущению земной жизни он всегда оставался верен. Где уж тут "акварельность"?

\* \* \*

В последние годы — да это, пожалуй, явление вполне естественное — отечественная мемуарная литература и качественно и количественно перевешивает беллетристику. Грозная пестрота нашего века подталкивает к тому, чтобы ее не замалчивать, и

именно свидетельские показания занимают значительную часть издательской продукции. Пишутся они порой курсивом, порой чуть ли не "в разрядку", но от этого, однако, не выигрывают в достоверности, превращаясь в литературу "мемуарно-фантастическую".

Из воспоминаний чисто литературных, увидевших свет за последние годы, особняком стоят книги двух женщин: Надежды Мандельштам и Лидии Чуковской. Они выделяются хотя бы тем, что веришь каждому их слову. Они описывают виденное и пережитое и отталкиваются от декоративной отсебятины.

К той же редкой и ценной категории мемуаров следует причислить и недавно появившиеся "Воспоминания о Белом" его второй жены Клавдии Николаевны Бугаевой-Васильевой.

Это отлично написанное, не без лиричности свидетельство о последних, мало кому известных годах жизни *Андрея Белого*, содержит исключительные материалы, благодаря которым проясняется многое в его биографии. Одновременно книга служит как бы некоторого рода комментарием к часто запутанным и почти сюрреалистическим произведениям, созданным им в последний период жизни. Бугаева старается разъяснить то, что читателю может показаться назойливым и малопонятным в таких романах Белого, как "Москва" и тем более в "Масках", которые читательского успеха отнюдь не имели. Задним числом можно даже удивляться, что эта книга в 1932-м году была издана Государственным издательством художественной литературы. Очевидно на цензоров еще действовал престиж имени автора, а, может быть, и сознание: а кто эту книгу дочитает? — и она потому, мол, безобидна!

Единственный упрек, который можно было бы сделать Бугаевой: надеясь, что ее записки будут еще до ее смерти (умерла она в 1970-м году, после того, как последние десять лет жизни была парализована и пролежала в постели) изданы в Советском Союзе, она о многом умолчала. В частности, умолчала о своих антропософских симпатиях, о том, что вернула Белого в штейнерианское лоно и, главное, ни словом не обмолвилась о том, что за эти пристрастия была арестована, сидела на Лубянке, и упустила в связи с этим рассказать о трагическом отчаянии Белого,

о том, что он обращался тогда к самому Сталину.

С другой стороны, трогательная в своем уходе за мужем, в житейской над ним опеке, эта женщина не замечала той двойственности Белого, которая лежала в его характере. Бугаева в своем отношении к мужу как бы проходила мимо этой его черты, упорством или даже, может быть, упрямством достигая того, к чему стремилась. Она знала, что иначе она ничего от него не добьется.

Мир мал, и мне случалось повстречаться с ней раз-другой, когда она приезжала "за ним" из Москвы в Берлин и когда, как он писал, он "за ней рванулся". А в те же дни он рассказывал мне, что за ним приехала "антропософская тетка". Вспоминаю, как я был ошарашен, когда познакомился с миловидной и очень ласковой женщиной. Я часто встречал тогда Белого, последние недели его и моего берлинского пребывания мы жили в одном пансионе, в том же коридоре, и до самого дня его отъезда мне казалось, что он не решил, как поступить — ехать ли в Москву или в Прагу.

Собственно, Клавдия Николаевна спасла Белого: оставаясь на Западе, он бы погиб, делать ему здесь было нечего, говорить не с кем, а ему, как никому другому, нужна была рядом заботливая рука, и, как правильно отмечал Ходасевич, "ему нужен был тот семейственный лад и уют, которого у него не доставало всю жизнь, который в немолодые годы каждый человек вправе хотеть. Ведь все его прошлые "большие" увлечения — Петровской, Любовью Дмитриевной Блок да и его первой женой, Асей Тургеневой — неизменно искривлялись какой-то гримасой и были лишены непосредственности, а главное, не отделялись от не всегда заманчивой "литературщинки".

А именно этот относительный в обстоятельствах тогдашней эпохи "уют" его будущая жена ему создала после того как, возвратившись в Москву, он писал: "Я был "живым трупом", журналы закрыты для меня, издательства закрыты, был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате... с протянутой рукой: "Подайте бывшему писателю". Так не случилось... Так не случилось именно благодаря Клавдии Николаевне, потому что в житейских делах Белый был беспомощен, ему все

было трудно, для него из всего вырастала проблема, сам он громоздил себе осложнения. Она мирилась со всеми его чудачествами, помогала ему даже, когда он вдруг стал, особенно в осенние месяцы, собирать листья различных деревьев, различных окрасок, сушил их и вклеивал в громоздкие альбомы, уверяя, что эта коллекция позволяет ему лучше ориентироваться в красках природы и лучше передавать их в своей прозе. То же случилось после их пребывания в Коктебеле и на каменистом кавказском побережье, когда он начал собирать разноцветные камешки, заполнял ими большие коробки, играл с ними и таскал их за собой в продолжении всей их совместной, далеко не всегда оседлой жизни.

Он и в старости любил всякие "дурашные" забавы, сохранял акробатические способности и показывал, как можно ходить, держа на голове стакан чаю. Не зря же, как о том рассказывает Бугаева, один из лечивших его докторов говорил ему: "Ваша болезнь в том, что вы слишком молоды для своих лет".

В этой "симфонической" (так он сам определил ее в "Первом свидании") игре было множество оттенков, потому что именно в том, что он тогда писал, неотделимы границы между игрой, искусством и жизнью и как для него характерно, что видимый беспорядок в его комнате, и особенно нагромождение на его письменном столе пестрых папок и книг, был им строго продуман.

Недаром прожив с ним бок-о-бок более десяти лет, Бугаева не решается ответить на вопрос — был ли Белый скрытен? Он свободно мог со всеми говорить о себе, но тональность его признаний и откровений никогда не была однозначна. Он неизменно утверждал, что в каждом есть зона, невыразимая в слове, и в ней человек всегда одинок, сколько бы друзей и любимых у него ни было.

Весьма симптоматично, что Бугаева, преклонявшаяся перед ним, подчеркивала, что несмотря на его острый ум и огромную эрудицию, он по существу всегда оставался чистым и ясным ребенком. Он, по ее мнению, всегда был искренен, даже когда сегодня говорил противоположное тому, что говорил вчера. Он, заимствуя признание блаженного Августина, "любил любовь". Он искал, что полюбить, и нередко попадал впросак, потому что

немногие понимали, как он умел любить, как хотел любить и как он любил; может быть, не понимали из-за того, что светлый мажор сочетался в нем со скорбным минором.

Он всегда хотел быть человеком — прежде всего и до конца, хотел, чтобы видели в нем не писателя, не автора таких-то и таких-то книг, не Андрея Белого, а просто Бориса Николаевича, и приходил в совершенную ярость, когда люди обращались к нему как к некоему "учителю жизни". Внимание и ласковость, оказанные Борису Николаевичу, были для него дороже всех лестных слов по адресу Андрея Белого и, как с большой тонкостью отметила Бугаева, "абстрактный" было в его устах выражением такого же глубокого порицания, как и эпитет "нечеткий", который он прилагал к людям, умствовавшим вместо того, чтобы чувствовать.

Сам он часто переживал то самое состояние, которое было им описано в "Москве под ударом", когда главный герой романа — профессор Коробкин заявляет: "Поговорить-то ведь не с кем..." И у Белого в эти последние его годы с острой силой вставало сознание его интеллектуального одиночества. "Мне трудно жить с людьми, мы на разных языках говорим, — жаловался Белый, неизменно цитируя полюбившуюся ему строку Боратынского: "Только повторенья грядущее сулит".

Как подчеркивает автор "Воспоминаний" — и людям, знавшим его, это, может быть, было невдомек — Белый страстно любил природу, вырываясь из города, рвался к ней и, протягивая руки вперед, только бормотал — "Природушка!" Больше всего его привлекали к себе кавказские горы, но ходить по дорогам он и там не любил, и там ему было скучно "топтаться" по искоженным тропам, его притягивало неизвестное и, сокращая путь к какой-нибудь неизвестной ему вершине, он, вместо того, чтобы до нее добраться, попадал в колючие заросли. Если хотеть, то в этом штрихе можно усмотреть известную символику. Но как-никак, по его же словам, природа до конца его дней сияла ему "светом утраченного смысла".

"Допускаю: не всякому присуща способность живо нырять в прошлое с тем, чтобы приобщать его к настоящему", — отмечал он в предисловии к "Зовам времени", собранию стихов, в которое



в полностью переработанном виде вошел и его первый, когда-то нашумевший сборник "Золото в лазури". "Зовы времени" так и остались пока неизданными. Перечитывая свои первые стихи, которые он, может быть, при переработке портил, он уверял, что его самого приводит в бешенство безвкусица иных рифм и образов и неумело расставленные пышности, о чем говорит само заглавие первой его поэтической книги.

Он считал, что все, что он делал — только проба пера, уверял, что время движется к снятию антитезы "поэзия-проза" и не переставал жаловаться на то, что ему недостает выразительных знаков, которыми так богаты композиторы, а "передать интонации знаками препинания все равно, что метрами мерить камю".

Но все-таки главное, что хотела внушить своему читателю Бугаева — это то, что всегда поражало ее: не *что* действий Белого, а их *как*. Примат звука был всегда для него неоспорим, и звуками он, по его словам, умел "бабацать", как никто другой.

\* \* \*

Должен сразу признаться, что мне чужда любая форма эзотеризма, как бы он ни именовался, и ум мой, вероятно, чересчур рационалистичен, чтобы по достоинству оценить сущность апологетической риторики Андрея Белого, пронизывающей его увесистые воспоминания о создателе антропософского учения докторе Рудольфе Штейнере.

Хотя в течение долгой моей жизни встречал я немало приверженцев антропософии и с некоторыми из них был в приятельских отношениях, мне всегда казалось, что одни примкнули к штейнерианству искренне, тогда как другие — лишь для того, чтобы хоть чем-то выделиться из окружавшей их будничной серости и перед собой "пофорсить", а о каком-либо нравственном совершенствовании или познании иных миров и не помышляли. Впрочем, как в любых группировках, и здесь были люди самые пестрые, и со стороны часто было непонятно, что, собственно, могло их связывать.

Ведь и сам Белый, обращаясь когда-то к одному из своих виднейших немецких единомышленников, писал: "От Ницше ты,

от Соловьева — я, Мы в Штейнере перекрестились оба". Для меня было и остается загадкой, как один, исходя от Ницше, другой — от Владимира Соловьева могли принять общую духовную платформу, а меньшей загадкой было, как человек масштаба Белого еще в начале века мог уделить год творческой жизни на создание трактата "Гете и Штейнер в мировоззрении современности", в котором Гете как бы сопоставлялся с Штейнером, между ними ставился некий знак равенства, даже если книга касалась не столько Гете-поэта и писателя, сколько его философствований и замысловатой и постоянно оспариваемой теории о красках.

Насколько зорок был Блок, когда в письме к Ремизову писал: "Если бы мы знали о Штейнере только от Андрея Белого, можно было бы подумать, что Белый сам его сочинил". Да, прочтя четыреста страниц его воспоминаний, так и не отделить Штейнера-человека от Штейнера-беловского виденья.

Как бы то ни было, эта книга-панегирик взволновала меня, потому что жизнь моя так сложилась, что в начале 20-х годов в ненадолго затянувшийся период пребывания Белого за рубежом я довольно хорошо его знал, часто с ним встречался, много и подолгу с глазу на глаз беседовал и даже короткое время жил с ним в одном пансионе — наши комнаты были рядом. Одну из ночных прогулок с ним я как-то уже описывал и потому не стану повторять детали. Упомяну только, что я и по сей день вижу перед собой выражение его лица и неожиданно охвативший его суеверный ужас, когда после долгих блужданий по сонному Берлину он на каком-то перекрестке вдруг заметил дощечку с названием улицы, и как он бросился от нее наутек. Улица называлась "Гейсбергштрассе", а он в полутьме прочитал "Гейстбергштрассе" и это лишнее "т" привело его в паническое состояние, потому что, как он мне объяснял, нам грозило вступить в обиталище злых духов. Конечно, "гейст" по-немецки — дух, но почему он непременно злой? Только спустя много лет я мог обнаружить, что подлинную причину своего внезапного возбуждения он тогда от меня утаил: именно на этой в те времена пустынной улице помещалась штаб-квартира берлинских антропософов.

Эпизод этот по существу малозначителен, но для облика Белого он характерен. Ведь в ту пору он едва ли не в каждый разговор включал своего рода рефрен о "демонизме" доктора Штейнера. Напомню при этом, что в цикле романов, написанных им в двадцатых годах, он вывел Штейнера под именем доктора Доннера, и одно звучание этого имени уже показательно.

Без преувеличения могу сказать, что из его уст я десятки раз слышал рассказ о его тогдашней встрече с Штейнером в Берлине, тем более его разочаровавшей и не перестававшей угнетать, что она была долгожданной. Еще будучи в Москве он мечтал о поездке к Штейнеру и первой своей жене в Дорнах, антропософскую цитадель под Базелем, в которой до того Белый принимал деятельное участие в постройке недолговечного "храма". Но Штейнер его якобы туда не пускал, и швейцарской визы он добиться не мог. Когда они, наконец, встретились, Штейнер — так передает Белый — с язвительной холодностью спросил его: "Ну, как поживаете?" И в ответ Белый только насмешливо буркнул: "Да вот, кое-какие осложнения с квартирой!" После такого удара по его самолюбию в глазах Белого все зло в его судьбе, в его метаниях, в его неприкаянности и чуть ли не в потере рукописи сборника стихов, действительно, причинившей ему много горя и так и не восстановленной, все объяснялось кознями "доктора", его враждебностью.

Недаром на страницах воспоминаний, среди воскурений фимиана, попадают и такие несоответствующие общему настрою книги строки, вроде описания постановки "Фауста" антропософскими театрами. Штейнер был недоволен игрой актера-любителя, воплощавшего Мефистофеля, и захотел сам показать, как эту роль исполнять.

На другой день Белый сказал своему "учителю": "Доктор, вчера я вас ненавидел, когда вы были чертом", — и к этому в своих воспоминаниях он добавляет: "Образ черта, каким вырисовывался он у доктора, как бы вооружил меня знанием, непередаваемым книгами, — в его "игре" не было сцены и забывалось, что это импровизация. В "игре" не было игры — был сам черт. Вот почему я и утверждаю: доктор был великим артистом".

Тем не менее понятен не знающий границ панегирик штейнерианству, писавшийся конспиративно, потому что в советской стране антропософы подвергались гонениям. Жена Белого, вторая, одно время находилась в ссылке, а сам он метался как мог и, чтобы ее освободить, обращался к самому "самодержцу". Он трудился над своей книгой, заранее зная, что его рукопись, в лучшем случае, утонет в ящиках его письменного стола, но — неровен час — она может и ему, и его близким причинить лишние неприятности.

Думается, что мало кому из читателей "Воспоминаний" станет понятно, как Андрей Белый мог подпасть под такое неизбывное влияние Штейнера, от разговоров с которым, как он сам признавался, "голова кружилась мифом", а наряду с этим, вспоминая свое дорнахское сидение, он рассказывал и другое: "Происходили казусы, когда двое встретятся после лекции и начнут разговор: "Как прекрасно сказал доктор о том-то..." — "Позвольте, — перебивает собеседник, — он этого не говорил!" — "Нет, говорил..." — и кто про Фому, кто про Ерему, а впоследствии, когда появился печатный текст лекции, то в нем нет ни "Фомы", ни "Еремы". И об этом свидетельствует тот, кто был некогда одним из ближайших и, может быть, наиболее блестящих сотрудников или "учеников" Штейнера.

Потому-то так многозначителен включенный в "Воспоминания" рассказ о том, как в свое время Бердяев, заинтересовавшийся штейнеровскими теориями, съездил в Гельсингфорс, где Штейнер гастролировал, чтобы прослушать один из его "курсов" собственными ушами. Что же вышло? По словам Белого, Бердяев "не столько курс прослушал, сколько проболтался с могущим на него воздействовать влиянием "магических пасс" Штейнера да так и прошел мимо курса, до глупого ничего не поняв". Фраза эта менее относима к самому Бердяеву, чем к тому, что, вероятно, Штейнера надо было не понимать, а принимать на слово и, в таком случае, "можно было не пользоваться его уроками, даже не углубляться в его книги — лишь слушать его, и тогда возникал целый университет развития духа, внимания, гибкости восприятия, надо было "развесить уши" где надо, и их где не надо сложить".

Воссоздание той атмосферы, которая возникала в Дорнахе, делает горьким чтение "конспиративной" книги Андрея Белого. Она невольно снижает облик автора "Петербурга" и воспринимается со стороны, как книга кающегося сектанта, блудного сына, старающегося возвратиться в отчий дом.

Недаром французский редактор книги подчеркивает, что "Воспоминания" Белого ни в коем случае не следует воспринимать как объективный подход к антропософскому учению в его идейном аспекте и его достижениях. Учениками Штейнера было уже написано бесчисленное количество воспоминаний о своем "учителе", однако Белый находится от них в стороне. Только его огонь, его страстность, его пыл делают написанное им материалом, при помощи которого, сквозь все его излияния, междометия и рои заглавных букв, понятливый читатель сумеет докопаться до того, что Белому не удалось передать с достаточной ясностью. Может быть, и так. А с литературной точки зрения новых лавров в венок Андрея Белого неизданная книга не вплетет, главным образом, потому, что то, что он сам именует "самотерзом", не только не было изжито при писании книги, но, можно предполагать, что именно этим мучительным состоянием она и диктовалась.

Нельзя сомневаться в искренности всего, включенного Белым в его воспоминания, но тем более за него больно, что эта четырехсотстраничная и надуманная книга не была — по беловской терминологии — создана им "единым махом", а скорее оказалась неким "перемахом", ералашем воспоминаний и впечатлений, который приближал его работу к "промаху". Заверения Белого в том, что Штейнер помог ему "переболеть собою", успокоив те боли, которые в нем нарастали, малоубедительны. Судя по его предсмертной книге, эти боли не переставали до его последнего дня обостряться.

\* \* \*

К крылатым пушкинским словам о том, что мы ленивы и нелюбопытны, следовало бы еще добавить, что мы забывчивы. К примеру, кто вокруг нас вспоминает еще трагическую повесть

жизни той, которая когда-то в миру была Лизой Пиленко, а затем в круговороте лет стала матерью Марией и сыграла немалую — хоть, собственно, "закулисную" — роль в жизни русской эмиграции? Как отраднo поэтому, что о. Сергей Гаккель посвятил ей небольшую монографию, сперва вышедшую по-английски, затем по-немецки и только совсем недавно появившуюся и по-русски и написанную скорее с долей лиризма, чем с оттенком апологетики.

Эта книга — как бы запоздалый венок на безвестную могилу матери Марии, но, вместе с тем, горькое напоминание о трудах и днях первой эмиграции, а затем и о нестерпимых годах нацистской оккупации Франции.

О. Гаккель воссоздает образ матери Марии, пользуясь ее архивами, почти чудом уцелевшими, или беседами с людьми, которые были ей близки. Сам он, очевидно, с ней знаком не был и, очевидно, из-за этого можно ощутить чуть уязвимую сторону книги. Ее "без вины виноватый" автор, как мне видится, не до конца осознал, что, достигнув духовных высот, жизнь матери Марии в известном смысле была цепью неудач и провалов.

Закончив Бестужевские курсы, она появилась, едва достигнув двадцатилетнего возраста, на петербургском литературном небе, притом в самой "изысканной" его части. Она подружилась с Блоком и Вячеславом Ивановым, стала завсегдатаем его пресловутой "Башни" и, нося под платьем некое подобие вериг, частым гостем "Бродячей собаки". Муза поэзии до конца дней дразнила ее, и она с большим увлечением писала стихи, издала два поэтических сборничка. Писала она легко и помногу, но хотя в стихах было вдоволь хороших чувств, поэтический дар ее был скромн. Недаром Блок в "письме", вошедшем во все собрания его сочинений, обращаясь к ней, говорил: "Я хотел бы, / Чтобы вы влюбились в простого человека, / Который любит землю и небо / Больше, чем рифмованные и нерифмованные / Речи о земле и небе".

Можно легко себе представить, как ей было горько читать это написанное белыми стихами наставление, потому что в те годы поэзия — своя и чужая — была неотъемлемой частью ее жизни. Но, как бы то ни было, она вскоре вняла советам Блока

и, оставив "отравленный" воздух Петербурга, переселилась в свою родную Анапу, где, кстати сказать, примкнула к местным эсерам и была анапским городским головой в блаженные дни Временного правительства.

Дважды она выходила замуж. По-видимому, дважды не вполне удачно, потому что оба раза с мужьями расходилась. Было у нее трое детей, они были ее радостью и в каком-то смысле самооправданием. Все трое погибли в раннем возрасте: младшая дочь совсем ребенком; старшая, оставившая ее и вернувшаяся в Москву под опеку Алексея Толстого, умерла там от тифа; сын ее в результате доносов на группу "Православное дело", ею организованную, был увезен нацистами в один из лагерей смерти.

В тридцатых годах, вопреки советам близких друзей и минуя кос-какие "канонические" препятствия, она стала монахиней. Обряд пострига совершал митрополит Евлогий и сам вручил ей белую рубаху-власяницу — этот хитон "вольные нищеты и нестяжания и всяких благ и теснот претерпения". От своего первоначального намерения принять тайный постриг она отказалась и просила только:

Все забытые мои тетради,  
Все статьи, стихи бросайте в печь.  
Не затейте только, Бога ради,  
Старый облик мой в сердцах беречь.

Если подумать, то, пожалуй, это пожелание матери Марии выполнено не было, да и монашество аскетического духа и созерцания было ей чуждо. Так, находясь в командировке в прибалтийских странах, она посещала местные обитатели, в которых еще сохранялся традиционный устав, — она оказалась там чужой, тогда как тамошние монахини недоумевали, что существует новый тип монашеского служения. А вернувшись в Париж, мать Мария не без укора говорила о них: "В них нет тревоги за судьбы мира, и личное их благочестие, приемлемое в давние времена, не годится во времена апокалиптических свершений, когда нужно сжечь всякий уют, даже монастырский". Не зря же она писала:

Постыло мне ненужное витийство,  
Постыли мне слова и строчки книг.

.....  
Я знаю только радости отдачи,  
Чтобы собой тушить мирскую скорбь,  
Чтобы огонь и вопль кровавых зорь  
Потоплен в сострадательном был плаче.

Строки эти не были одними словами: все часы своего дня мать Мария уделяла основанному ею дому для обиженных и немощных, и трудно понять, как и какими путями добывала она средства для поддержания этого благого начинания, как справлялась — почти одна — со всем его многотрудным хозяйством. А к тому же жизнь ее одно время осложнилась, когда настоятелем ее маленького домового храма был назначен человек бескомпромиссного уставного благочестия, даже внешне отдаленно напоминавший тицианово изображение великого инквизитора. Непокорный, едва ли не бунтарский характер матери Марии столкнулся с враждебной ей традицией, и это столкновение было дополнительным испытанием, испортившим ей много крови.

К сожалению, я был весьма шапочно знаком с матерью Марией, иной раз встречал ее у общих друзей, иногда на литературных сборищах, которые сам редко посещал, раз-другой обменялся с ней несколькими назначаемыми словами. Тем не менее ее внешний облик запечатлелся в моем сознании, и я почти уверен, что тотчас узнал бы ее среди многотысячной толпы — узнал бы по очкам со сломанной оправой, по заштопанной рясе, по стоптанным башмакам, по какому-то необычному румянцу ее круглого лица и, главное, по доброму выражению ее глаз, разглядывавших собеседника с почти материнской нежностью.

Я вспоминаю теперь одно единственное с ней "пререкание". После какого-то доклада шел спор о блоковской лирической драме "Незнакомка", которую многие считали "сумбурной". Мать Мария в непривычно для нее резкой форме против такой установки возражала, для обоснования своего мнения заявляя,

что пьеса настолько реалистична, что нетрудно увидеть, что ее действие происходит на Петербургской стороне, на Зелениной улице. Я не удержался, чтобы не спросить мать Марию, откуда такие детали могут быть ей известны, поскольку в сценических ремарках к пьесе имеется только указание, что действие происходит в "уличном кабаке". "К чему спорить, — с раздражением в голосе отрезала она, — если мне это Александр Александрович объяснил". Только в этот момент я вспомнил о ее дружбе с Блоком, о частых ее с ним встречах. Я тогда не знал, что она эти встречи описала и ее воспоминания были впоследствии опубликованы в труднодоступных сборниках Тартуского университета.

Упоминаю сейчас этот по существу вполне незначительный эпизод только потому, что комментарии такого порядка, исходящие от женщины, облаченной в рясу, мне и тогда казались диковинными. Да, монахиня она действительно была особенная, не такая, какими я способен был их себе представлять, и даже, может быть, не совсем такая, какой ее с чувством подлинного пиетета и с любовью нарисовал о. Гаккель. Ведь ее отличительное свойство заключалось в том, что она в своих мыслях никогда с миром не порывала. Она не только приходила на помощь обездоленным или старалась подбодрить тех, кто опустился на дно, не только посещала тюрьмы и больницы, чтобы облегчить судьбу своих соотечественников, но одновременно следила за литературными новинками и особенно радовалась получению тоненьких поэтических тетрадок, появлявшихся в Зарубежье.

Хотелось бы привести одну фразу из слова о матери Марии, произнесенного Антонием, митрополитом Суражским. "Она пошла путем подлинного юродства во Христе: прожила, судя по человеческому разуму, безумно, — сказал митрополит, — но разве не все Евангелие "безумие" в глазах мудрых, опытных поземному людей. Разве вообще любить, то есть совершенно о себе забыть ради Бога и ради ближнего — не сплошное безумие". Думая о матери Марии, лучше не сказать.

И еще хотелось бы рядом процитировать ее собственные слова. "Есть два способа жить, — внесла она в свою записную книжку, — совершенно законно и почтенно ходить по суше —

мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия — и начинаешь тонуть". Жизнь матери Марии с ранних лет — в какую сторону ни взглянешь — всегда была попыткой "хождения по водам", и потому ей не было дано предвидение, и потому по человеческим меркам ее земная жизнь складывалась неладно и даже — кто знает? — может быть, не вполне так, как ей самой мнилось.

История ее трагического конца в общих чертах известна: она стала еще одной жертвой человеконенавистнического режима. Последние месяцы и даже недели ее жизни можно проследить по свидетельствам нескольких уцелевших "солагерниц". О ее последних часах существует несколько версий. Но здесь не место восстанавливать все жуткие детали. Важно то, что она в полном смысле погибла "за други своя", важно то, что в какой-то мере сбылось ее предчувствие — и это знаменательно, — записанное ею еще в 1916 году:

Но будет час; когда? — еще не знаю;  
И я приду, чтоб дать живым ответ,  
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,  
Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,  
А только дух пред тайной светлой наг,  
Всегда судьбе неведомой покорен,  
Любовью вечной благ.

Эти ее строки дают особый рельеф книжечке о. Гаккеля, который не только восстанавливает перед читателем образ русской женщины, осиянной каким-то почти неземным светом, но и напоминает в связи с нею о чем-то, что едва ли можно выразить обыденными словами, но что подразумевалось евангелистом, когда он сказал — "Аще не умрет..."

\* \* \*

Может быть, психологи смогли бы ответить на вопрос, почему писатели и поэты-юмористы сплошь да рядом оказы-

ваются людьми сумрачными, нелюдимыми, завзятыми невращенниками? В этом отношении только подтверждал правило прославленный когда-то сатирик *Саша Черный*. Его стихи в свое время знала наизусть чуть ли не вся читающая Россия; в своих речах их цитировали думские депутаты и в защитительных речах передовые присяжные поверенные, хотевшие огорошить присяжных своей "близостью" к современной литературе. А Маяковский, хоть и казавшийся ему чуждым, но многое от него позаимствовавший, в своей лаконической автобиографии обмолвился: "Поэт почитаемый — Саша Черный". По свидетельству близких, Маяковский способен был подолгу на память декламировать сатиры Черного.

Но времена меняются... Когда я с ним познакомился волосы его уже были обведены серебряной краской, от его былой ядовитости не оставалось и следа, а глаза его точно источали грусть. Всем его неприхотливым обиходом — распорядком его дня, его хозяйством, да если судить по кое-каким беглым впечатлениям, им самим и его музой по-диктаторски заправляла его жена — пресловутая Марья Ивановна, которую все втихомолку именовали "Машей Черной", а люди более почтительные "Марьей Ивановной-Сашей Черной".

Она без устали и без передышки сновала по Парижу, давала уроки, выполняла чьи-то деловые поручения, продавала книги своего мужа, выискивала для них издателей. А было это дело нелегким... Она подлинно опекала мужа — стряпала для него, одевала его и обувала, ходила за ним как нянька и каким-то почти чудодейственным образом, только благодаря своей природной настойчивости и энергии, сколотила кое-какие деньжата, позволившие ей приобрести домишко "на курьих ножках" в одном из поселков средиземноморского побережья, облюбованном и почти колонизированном русскими парижанами.

В эти годы сам поэт, почувствовавший, что продолжать именоваться "Сашей" уже не вполне приличествует его возрасту, окраске его поредевшей шевелюры и его репутации, решил видоизменить свой псевдоним, из которого, казалось ему, он "вырос", как из коротких штанов. "Сашу" он решил заменить "Александром". Но измена уменьшительному имени не принесла

ему удачи. "А. Черный" не звучало и потому, собственно, не привилось.

Когда-то я спросил его: "Александр Михайлович, почему вы в свое время окрестили себя "Сашей"? Он кисло улыбнулся, (улыбка его всегда была кисловатой) и пояснил — "Почему я так придумал, сам не знаю. Это было в сумасшедшем 905-м году. В недолговечном журнальчике "Зритель" я опубликовал стихотворение, названное мной "Чепуха". Подпись "Саша" была под ним как нельзя кстати, а стихотворение имело громкий успех. Так и пошло. Но знаете, этот "Саша" мне много горя доставил: еще в Петербурге каждый встречный-поперечный фамильярно окликал меня "Саша", да и тут — столько времени прошло — каждый недоросль пристаёт с этим "Сашей". А менять имя трудно и, главное, хлопотно. Между тем, хоть я про себя и написал, что "я прилежнее пчелки и ленивее совы", но правильно только то, что относится к сове!"

Не привилась перемена псевдонима, может быть, еще потому, что к этому времени Черный стал заметно сереть, писал мало и вяло, печатался еще того меньше, редко где появлялся, предавался "мерехлюндии" и общался, кажется, с одним только Куприным, старинным своим другом. Впрочем, и Куприн в те годы был малообщителен и едва разговорчив, и вспоминать сообща те битвы, "где вместе рубились они" им едва ли было весело, тем более, что Черный всегда и везде был словно на отлете.

Кое-когда появлялся он на традиционных новогодних писательских балах, всегда в том же бесцветном, непроутюженном костюме. Молчаливый, безрадостный, он приходил словно по принуждению и сидел, не двигаясь, в каком-нибудь углу, позади буфетной стойки, за которой сутилась его супруга, продававшая всяческие снэды. Видно было, что ему тяжело и он точно "мокрой ваты наелся", с нетерпением поджидая момент, когда прилично будет улизнуть.

Дело было не только в том, что ему было неуютно среди веселящейся толпы. Его вообще стала тяготить и подавлять атмосфера большого города, и я вспоминаю, как однажды посетив его, когда он жил где-то в окрестностях Парижа, я едва

узнал его: это был другой человек. На лоне природы, даже если это "лоно" было весьма относительным, это был уже не тот, о котором он сам когда-то сказал — "Как молью изъеден я сплином / Посыпьте меня нафталином..." Нафталин там больше не был необходим, и недаром, едва только представилась возможность, Черные покинули Париж и перебрались под приморские сосны теплого берега Франции.

В этом "самоизгнании" был, конечно, и трагический момент. Ведь теоретически Саша Черный ценил Париж с его сутолокой, любил прогулки по Булонскому лесу, нашел общий язык с французской детворой, но все дело было в том, что он потерял самого себя, не находил себе точки применения. Все его бывшее творчество, все, что создало ему имя — сводилось к жалящим бытовым зарисовкам, обличающим пошлость, обывательщину, мещанство, косвенно проповедовавшим антиэстетизм. Все это было больше не к месту и перестало быть злободневным. Отчасти из-за этого его поэзия и зашла в тупик. Для гротеска не было больше материала, и усталый поэт потерял способность быть ядовитым сатириком, как не научился выступать в роли прищипанного юмориста. "Пародией безчестить Алигиери" было не в его духе, было ему не под силу.

Он переиздал, значительно их переправив, две старые книги своих сатир, выпустил третий сборник — "Жажду" с характерным для него циклом "Чужое солнце", в котором попадают такие посвященные неизвестному другу строки:

Мы с тобой два знатных иностранца:  
В серых куртках, в стоптанных туфлях,  
Карусель кружится в ритме танца,  
И девчонки ввысь летят в ладюхах...  
Вдосталь хлеба, смеха и румянца,  
Только мы — полынь в чужих полях...

"Полынь в чужих полях..." Это было именно то ощущение, которое этот бескомпромиссный человек изжить не сумел, а, вероятнее всего, изживать не хотел. Ему казалось, что он отныне всюду и везде — прибегаю к его собственной формуле — "чужой как Брахмапутра". Вероятно, поэтому его так притягивала

детская тематика и его "Детский остров" несомненно самое ценное, что появилось за его подписью за рубежом. Эта подлинно ласковая, безыскусная книга для детей, не подделывающаяся под детский язык, может порадовать и взрослых. А под занавес Черный окончательно перешел на прозу и выпустил "Солдатские сказки", написанные бойкой, в меру арготической солдатской речью, которую он запомнил надолго. Ведь — кто бы мог подумать, глядя на него — этот тщедушный и узкоплечий человек делал записи еще в 914-м году, проведя годы Первой мировой войны добровольцем на фронте.

А когда заветная мечта Саши Черного покинуть давивший на него город и осесть на собственном клочке земли, наконец, осуществилась и он перебрался на притягивавший его юг, не "получилось" у него и там. Жизнь его вскоре оборвалась. Возвращаясь домой с рыбалки, он услышал крики "пожар" и ринулся к своему загоревшемуся домику. Пожар почти сразу потушили, собственно, тревога была ложной, но пережитое им волнение оказалось слишком сильным. В результате сердечного припадка он, не приходя в сознание, через несколько часов скончался и был похоронен на местном кладбище. Но и там его преследовала неудача: во время оккупации немцы вздумали воздвигать какие-то прибрежные укрепления и могила Саши Черного была скрыта.

Только совсем недавно друзья и поклонники поэта водрузили памятную доску на том месте, на котором он предположительно был похоронен. Таким образом память о нем сохранится в его излюбленном Фавьере, в департаменте Вар.

\* \* \*

Задают вопрос: "А почему вы не пишете о *Алданове*?"

Почему? Собственно, потому, что нет повода, нет "зацепки". Разве вот воспользуюсь 25-летием со дня выхода его книги "Ульмская ночь", хоть она не вполне в линии его творчества, потому что он был, в первую очередь, романистом, а эта книга написана в устаревшей форме философских диалогов, по природе своей — условных, но зато позволяющих множество отступлений

и дающих волю алдановской слабости к цитатам, может быть, заимствованной им у Лейбница.

Но что, собственно, означает заглавие книги, подзаголовок которой гласит "Философия случая"?

В жизни многих людей бывали роковые ночи, после которых их жизнь словно раскалывалась, куда-то отклонялась, шла по другому руслу. Вспомним, для примера, хотя бы "арзамасскую ночь" Льва Толстого.

Вот и биографы Декарта передают, что как-то в молодые годы странствуя по Германии, он посетил Ульм. Целые дни проводил он там взаперти, имея таким образом много времени для размышлений. Якобы тогда его стали посещать видения. В день святого Мартина под вечер он заснул и, по собственному признанию, во сне открыл "основы изумительной науки". Не вполне ясно, что Декарт в эти слова вкладывал: то ли открытие аналитической геометрии, то ли всю созданную им впоследствии философскую систему, некое "картезианское состояние ума". А как раз оно-то больше всего Алданова и притягивало.

Естественно поэтому, что его "Ульмская ночь", которой он придавал особое значение, со всеми заключенными в книге рассуждениями о философии случая и теории вероятностей могут быть сочтены за философское "кредо" самого Алданова и как некий комментарий к его романам.

Ведь основная идея "Ульмской ночи", ее лейтмотив — случайность всего происходящего в мире, полнейшая непредвиденность событий, в которых даже самые, казалось бы, выдающиеся исторические деятели, как, скажем, Робеспьер, Наполеон или ближе к нам Троцкий, хоть они и повернули ход истории, но в конце концов показали свою близорукость. Они сыграли свою роль, но история "посмеялась" над ними.

Алданов считает теорию вероятностей едва ли не одной из самых увлекательных наук, подчеркивая при этом, что для ее главных понятий не существует удовлетворительных определений. Случай — основа всей теории. Но ведь точного определения его так и не найдено, потому что случай есть все, что происходит в мире. Алданов даже рискует утверждать, что "историю человечества можно представить себе, как сознатель-

ную или бессознательную, героическую, повседневную борьбу со случаем".

Разбирая с точки зрения случая некоторые эпизоды, изменившие ход истории, Алданов задерживается на истории "девятого термидора" — это его "конек". Он вспоминает, что перевороту предшествовало незначительное происшествие. Полновластный представитель революционного правительства в контрреволюционном Лионе, Фуше, производя разгром города, попутно занимался "изъятием излишков" в свою пользу. Жена Фуше, возвращаясь в Париж, везла с собой сундуки с награбленными богатствами. У заставы ее коляска перевернулась, часть сундуков вывалилась и собравшаяся толпа ротозеев успела обратить внимание на их содержимое. Фуше имел все основания полагать, что это непредвиденное происшествие станет известно "неподкупному" Робеспьеру и счел себя обреченным. Якобы история с коляской и послужила одним из основных стимулов термидорианского переворота.

Конечно, несчастный случай с госпожой Фуше одна из тысяч случайностей, но ее не следует игнорировать... Не менее "случайную" роль сыграло и то, что накануне переворота Робеспьер во всеуслышание объявил о своем решении отправить на эшафот новую группу неугодных ему и, вопреки своей привычке, никого поименно не назвал. Этой оплошностью не преминул воспользоваться Фуше, который стал распространять проскрипционные списки собственного производства и этим изменил соотношение сил.

Наконец, в решительный момент произошла еще одна "случайность". Один из заговорщиков, Тальен, получил от своей любовницы, в которую он был влюблен до безумия, записку из Тампля о том, что ее казнь назначена на следующий день. Этот факт окончательно перевесил чашу весов. На заседании Конвента Тальен экспромптом произнес совершенно истерическую речь, толком не зная, что он должен сказать. Речь его, однако, была в цель, хоть и была лишена тени смысла. Заговорщики своего достигли, но это "свое" оказалось совсем не тем, к чему они стремились.

С точки зрения сцепления случайностей Алданов в своей



”Ульмской ночи” еще более подробно разбирает предысторию октябрьского переворота. По его мнению, главная социологическая особенность этого действия заключалась в том, что оно противоречило всем ”законам истории”, и, в первую очередь, тому, что проповедовалось его собственными вождами, то есть, марксизму и историческому материализму.

Алданов готов доказывать, что не будь Ленина, октябрьской революции не произошло бы. Между тем, его появление в России в тот кризисный момент в сущности было не больше, чем ”случайностью”. Людендорф мог Ленина и не пропустить или вместо Людендорфа на его посту мог очутиться более дальноркий генерал.

За две недели до переворота, вспоминает Алданов, на квартире меньшевика Суханова происходило заседание большевистского цеха, о котором затем не любили распространяться. На этом заседании Ленин, загримированный и приехавший в парике, составил резолюцию о начале восстания. В этом документе все положения, а их было пять, были ложны. Но на заседании присутствовал один большой человек, а остальные не были способны предвидеть ни того, что произойдет, ни еще менее собственной участи, которая им будет уготована на основании обвинений столь же ложных, как те, которыми оперировал Ленин на квартире Суханова.

Кстати, крайне любопытно отношение самого Алданова к Ленину, которому он давным-давно посвятил небольшую монографию, зачеркнутую последующими событиями и от которой он впоследствии отрещивался.

Едва ли у кого-либо, кто знал или читал Алданова, может появиться сомнение в той пропасти, которая отделяла его от Ленина. Вместе с тем он был о Ленине необычайно высокого мнения. Его враждебность к идеям Ленина не доходила у него до фанатизма, и он не думал, что шарж может стать действенным орудием в идеологической борьбе.

В алдановском романе ”Самоубийство” фигура Ленина появляется неоднократно и как будто в этом полифоническом романе он наиболее схож с оригиналом, наиболее по-человечески убедителен. Портрет Ленина, составленный из ряда отдельных

эпизодов, но вместе с тем целостный, не сравнить ни с теми подслащенными ”житийными” описаниями, в которых его выводили советские беллетристы и драматурги, ни с иными более иссушенными, более схематическими профилями, которые появились сравнительно недавно за рубежом.

Алданов рисует Ленина с особой тщательностью, может быть, нехотя подчеркивая иные его черты, способные увлечь его как беллетриста. Как-то вскользь одна из героинь алдановского романа говорит про Ленина: ”Это какой-то снаряд бешенства и энергии”, но ”и большая сила”, добавляет муж героини, точно выражая этими словами мнение автора.

Даже наружность Ленина нарисована Алдановым без искажений, без иронии, и тут я хотел бы процитировать его самого: ”Ленин был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг, Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, рассказывал о нем: ”Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся — узкие, краснозолотые, зрачки точно проколотые иголкой, и синие искорки”.

Я не мог догадаться какого писателя Алданов имел в виду, но этим описанием ленинских глаз, завораживающих и отталкивающих, Алданов пользуется, чтобы, вопреки Толстому, показать, что история может иногда подчиняться воле одного человека.

\* \* \*

В многостраничной библиографии Алданова, составленной парижским институтом Славяноведения, значится небольшая повесть, написанная почти сразу по окончании Второй мировой войны и задуманная как сценарий для фильма. Повесть была в 1948 году очень неопрятно издана каким-то канувшим теперь в Лету издательством, а потом в исправленном виде много лет

спустя вышла, уже после смерти автора, во франкфуртском "Посеве".

Свою повесть Алданов назвал "Истребитель", но сразу же в подзаголовке смягчил это грозное название. Во всяком случае, на первой же странице, отчасти подражая в этом Вольтеру, он дал понять, о чем будет идти речь, указывая, что его маленькая книга — "рассказ о скромном советском гражданине, Ялтинской конференции и о том, как она отразилась на его жизни; с художественной характеристикой трех главных ее участников, решавших судьбу мира".

Казалось бы, что к этому нечего прибавить, конспект всего рассказа дан в нескольких строчках. Между тем, несмотря на заманчивость сюжета и, может быть, потому, что ялтинская конференция была еще событием совсем "свежим" и о ней слишком много трубили газеты всего мира, алдановская повесть прошла едва замеченной, почти не вызвала критических откликов и появилась только в английском переводе, да и то в сборнике рассказов Алданова.

Да, "Истребитель" — это рассказ о старом и почтенном русском интеллигенте, уже почти "ископаемом", силой обстоятельств осевшем в Алушке, неподалеку от Воронцовского дворца. Герой или, вернее, антигерой рассказа уцелел и после немецкого нашествия опять-таки более или менее случайно. Когда-то он был студентом-химиком — избрал редкую профессию "истребителя", или, как иные для пущего страха называли ее, "экстерминатора". Но ничего устрашающего в этой профессии не было. Герой повести Иван Васильевич (точного его имени мы так и не узнаем) способами весьма допотопными истреблял вредных насекомых, угрожавших виноградникам и садам, а вне сезона брался и за истребление клопов и прочей домашней нечисти — работа в то время весьма полезная.

Но так случилось, что как раз перед открытием ялтинской конференции местный врач обнаружил у него якобы злокачественную опухоль, и этот диагноз отразился на его matrimониальных намерениях. А вслед за тем он получил приказ освободить "саклю", как он называл свой домик. Уж очень близко находился он от того дворца, где должны были происходить заседания

конференции. А куда было ему деться — до этого начальству не было дела.

Таким образом, по прихоти Алданова, на страницах его повести скрестилось два плана: план, так сказать, бытовой, с маленькими безымянными людьми и их переживаниями, ни для кого, кроме них самих, не интересными, и другой — почти эпический: международная конференция, каждый из участников которой попал на "скрижали истории". Собственно, это был излюбленный беллетристический прием Алданова: на страницах своих книг сталкивать гигантов с мурашками, и, надо заметить, что описание гигантов ему всегда удавалось лучше.

Со свойственной ему исторической непогрешимостью и неизбывной для него долей иронии и скепсиса Алданов на нескольких страницах скупо нарисовал ход конференции, и иногда можно подумать, что он на ней присутствовал. Достаточно вспомнить его рассказ о Черчилле, закуривавшем сигару, даже когда ему совершенно не хотелось курить, только потому, что его сигара, как он знал, такой же "гаг", как зонтик Чемберлена или котелок Чаплина. Черчилль был удручен тем, что другой его жест — знак победы в виде двух расставленных в форме латинского "в" пальцев — в этой "дикой" стране никто не оценил и даже не понял.

А тут же рядом — Рузвельт, безысходно больной и уже это сознававший, но все-таки над картами мира еще думавший о том, в каком виде изобразит его "Винни" (Черчилль) в своих мемуарах: "вероятнее всего, с чуть заметной иронией".

Сталин, почти безмолвный, ко всеобщему удивлению охотно соглашался со своими гостями, безропотно признавая независимость Польши и даже линию Керзона, тогда как всезнающие эксперты докладывали Рузвельту, что "дядю Джо" узнать нельзя, и ссылались при этом на изменение его церковной политики, на учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Кутузова.

Словом, казалось, что на черноморских волшебных берегах все шло "как по маслу".

Весь ход Ялтинской конференции Алданов описал чрезмерно лаконично, чуждаясь каких-либо преувеличений и сарказма, но сразу же расценивал все совершившееся совсем не по-рузвель-

товски. Впрочем, роль Кассандры всегда "благодарна".

Я бы не стал теперь напоминать о небольшой повестушке автора, оставившего после себя 14 больших романов, если бы в мои руки не попал авторский экземпляр "Истребителя" с многочисленными правками, вводящими, так сказать, в творческую лабораторию писателя.

Первое, что бросается в глаза — значительные для небольшой повести сокращения, причем эти сокращения едва коснулись той части, в которой описываются "великие мира сего". Мне представляется, что в авторской правке Алданова сказались влияние Бунина, который, в свою очередь, любил ссылаться на Чехова, почти настаивая на том, что каждый автор, закончив какой-нибудь рассказ, должен первым делом выбросить первый абзац. Не знаю, вспоминал ли Алданов Бунина, который в те дни был от него далеко, когда из своего первоначального текста убирал всякого рода "украшения", зачеркнул описание скудной библиотеки своего героя, указав только на открытое на его столе Священное Писание, отказался от применения непривычных для его уха советских словечек типа "буза", "гвоздь-парень", "пока". Может быть, он боялся, и это было бы на него очень похоже, что употреблял их не совсем кстати. Вычеркнул он и сравнения его героя с "лишним человеком", его влюбленности с чувством чеховского Вершинина к Маше. Он, несомненно, подумал, что эти сравнения не применимы к "истребителю филоксеры", хотя занятие это он отнюдь не презирал, тем более, что его Иван Васильевич когда-то напечатал в ученых изданиях несколько статей об "опрыскивании" и борьбе с виноградной блошкой.

Конечно, все эти сокращения и изменения носят исключительно "технический" характер и "морали" маленькой притчи ничуть не меняют, не меняют и его основной идеи о скрытой значимости маленьких людей, которые, сами того не зная, участвуют в исторических событиях. Роль случая в истории была, собственно, почти навязчивой идеей Алданова.

Зная требовательность Алданова к исторической достоверности и точности, можно предположить, что ему удалось, при его связях, проинтервьюировать кого-либо из участников Ялтинской конференции, хотя бы второстепенных ("первые скрипки",

вероятно, и не могли бы дать Алданову нужных ему деталей, ведь их можно было наблюдать только со стороны). Однако, он всегда все подвергал своему "химическому" анализу. Заполняя своим мелким почерком листы бумаги, он, конечно, всегда опирался на факты, на газетные репортажи, на разговоры с корреспондентами, но до конца никогда им не доверял — был уверен, что все все по-своему приглаживают и причесывают. Суммируя добытые им справки, он при описании даже общеизвестных фактов делал собственные над ними "надстройки", больше доверяя своей интуиции, чем посторонним источникам.

В конце повести Иван Васильевич проходил мимо мраморных львов, которые украшают фронтон воронцовского дворца, — один лев спит, другой просыпается, третий рычит, еще один готовится к прыжку — и, присматриваясь к ним, думал: "Да, за все бывает расплата, кроме того, за что расплаты не бывает". Эти последние несколько слов Алданов из первой редакции повести вычеркнул и, мне кажется, что в этом центр тяжести всех его поправок и изменений, потому что именно в этих нескольких вычеркнутых словах отразилось изменение историко-философской концепции автора.

А в заключение Алданов устами своего героя говорит: "Нет, конечно, нельзя сказать, будто меня не касается то, что делается во всех этих и других дворцах, но мы-то никого не интересуем, нам ни от кого нечего ждать, и я, грешный, буду, видно, и дальше жить, как жил: буду работать, пить по вечерам наливку и любоваться этими садами".

\* \* \*

*Ходасевич* скончался в июне 1939 года, когда оставались считанные дни до начала тех судьбоносных событий, которые надолго отодвинули на задний план интерес к литературе, поэтому неудивительно, что автора "Тяжелой лиры" постигло забвение. Вспоминали его затем урывками, кое-кто его цитировал, но даже вышедший в 1961 году том его стихов не вызвал большого резонанса и едва ли помог Ходасевичу занять в литературной летописи Зарубежья то место, которое принадлежит ему по

праву. Но вот неожиданно в самые последние годы о творчестве Ходасевича не только вспомнили, но его литературное наследство как будто стало "входить в моду"...

Можно было бы прибавить, что и Набоков писал: "Нынешнее столетие не выдвинуло ни одного поэта, превосходящего Ходасевича". Ссылки на высказывания Горького о поэзии — дело весьма рискованное и, в частности, в оценке Ходасевича у Горького было "семь пятниц на неделе". В свое время Горький употребил достаточно выпренных эпитетов, превознося поэзию Скитальца! Но как-никак поэзия не конкурс красоты и вряд ли нуждается в табели о рангах. Поэтому спор о месте Ходасевича в русской поэзии нашего века — спор бесцельный, и едва ли кто-либо будет оспаривать значительность Ходасевича и отрицать, что у него есть прекрасные стихи. Однако они, как когда-то писал Тынников, еще не знакомый с "Европейской ночью" и тем, что за ней последовало, "нейтрализованы стиховой культурой 19 века" или — уже по Андрею Белому — "из них зреют знакомые жесты поэзии Боратынского, Тютчева, Пушкина". Даже если позднее творчество Ходасевича написано в ключе, имеющем мало общего со стихами перечисленных Белым поэтов и исходит из совершенно чуждых русской классической поэзии переживаний, а только отчасти сходно с ними по своему словарному составу, по каким-то деталям своей просодии, то все же, с некоторыми поправками, слова Белого не утратили своей силы.

Но тут я должен сделать отступление и отметить, что почти одновременно с выходом парижского собрания стихов появилось и собрание писем Ходасевича к поэту Борису Садовскому, и это собрание, снабженное комментарием, редким по деловитости, представляет неоценимый материал для характеристики Ходасевича-человека. Этой книжице предпослан эпиграф, хоть и не подписанный никем из "великих мира сего". Это фраза из переписки двух женщин, с каждой из которых Ходасевич поддерживал в те далекие уже годы очень дружеские отношения. Говоря о Ходасевиче, одна из корреспонденток передает другой отзыв о поэте людей из его ближайшего окружения: "Это был человек холодный, чопорный, равнодушный насмешник, с печатью безалаберной молодости, с пристрастием к ссорам и тяжбам..." Но

если кое-что в этом нанизывании прилагательных можно счесть преувеличением, то все же многое критический громовержец эмигрантских лет сохранил до конца своих дней и это отразилось в его поэтическом творчестве.

Должен сказать, что я весьма близко знал Ходасевича, особенно в первое десятилетие его пребывания за границей, часто с ним встречался и, так как мы жили очень далеко друг от друга, нередко по субботам отправлялся к нему с ночевкой. До последнего метро мы не успевали обо всем переговорить, а о такси тогда и не думалось. Впоследствии дружба наша по разным причинам как-то сама собой истаяла.

Но близкое знакомство с ним позволяет мне считать особенно важным опубликование его писем к Садовскому, охватывающих пятнадцать лет тесного общения с коллегой по ремеслу и как бы резко разделенных на две части. Первая относится к времени, когда Садовской был поэтом и признанным критиком, печатавшимся чуть ли не в каждом выпуске "Весов" (а это тогда было "маркой"), Ходасевич был его закадычным другом и в какой-то мере постоянным просителем в делах литературных, во всем, что касалось опубликования строк его, тогда еще литературного "новичка". В последующие годы роли меняются: имя Садовского меркнет, его — отъявленного "пассеиста" — постепенно забывают, тогда как звезда Ходасевича продолжает восходить, — и тон его писем несколько меняется.

Поразительно, но после октябрьского переворота Ходасевич в своих письмах утверждает, что "жизнь надобно перестроить" и негодует: "если вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то что же вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли "бель-этажа"? Рябушинскую сволочь, бездельника милостью собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых (он был шурином Ходасевича — А.Б.) и прочую "демократическую" погань". И дальше: "Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованным".

Впрочем, такого рода признания не помешали тому, что в те же дни оба они решили покинуть Россию. Ходасевичу это без

особого труда удалось, а Садовской, хоть и обращался к Луначарскому и попытался призвать на помощь больного Блока, получил решительный отказ.

Пребывание на Западе — добровольное изгнание — тотчас же что-то в Ходасевиче перевернуло. Прежде в дружеских письмах к приятелю он писал, что связывающее их во много раз прочнее и неизменнее всего, что могло бы разъединить, ибо в некотором смысле у них общая родина — "отечество нам — Царское Село". Теперь все это было похоронено, что, очевидно, сделало возможным его участие в изданиях различного политического толка, тем более, что, как он считал "На растущую всечастью / Лавину небывалых бед / Невозмутимо и бесстрастно / Глядит историк и поэт".

Недостаточно места уделяют трагической утрате Ходасевичем поэтического голоса: почему "так уповательно и трудно, привыкши к слову, замолчать", хотя до того патриарх русской поэзии Вячеслав Иванов поощрительно писал ему, что "перечитывает его с восхищением, что его лирика обладает необыкновенным, несколько жутким, ибо незримым, отблеском". Впрочем, нельзя не признать, что давать правдоподобные объяснения такому молчанию бесконечно трудно, ибо "чужая душа — потемки".

\* \* \*

В моей жизни были сравнительно долгие периоды, когда я часто встречался с Ходасевичем, дружил с ним, и разговоры наши затягивались не только "далеко за полночь", но иной раз и почти до рассвета. Затем, как часто бывает, годы подточили эту дружбу, встречи становились все более редкими, пока почти совсем не прекратились. Его брак с женщиной, которую до того я встречал только мимоходом, как-то отдалил меня от него, тем более, что, как мне казалось, он стал сторониться старых знакомых.

Но, как бы то ни было, я и сейчас не только ценю, но и по-настоящему люблю почти все им написанное, знаю, что оно вполне выдерживает испытание временем, но одновременно сознаю, что он редко бывал объективен. Впрочем, для поэта, как и

для критика, недостаток ли это?

Да, я почти безоговорочно люблю его стихи, но вместе с тем никак не могу согласиться хотя бы с Набоковым, неоднократно называвшим Ходасевича "величайшим русским поэтом 20 века". Превосходные степени в таких оценках всегда таят в себе большую опасность. Несомненно, имя Ходасевича будет значиться, скажем, в числе первого десятка поэтов нашего века, но подняться на более высокую ступень (поэты все-таки не шахматисты, у которых первенство определяется числом выигранных очков) ему мешает отчасти то, о чем в своей не в меру панегирической статье обмолвился Андрей Белый, указав, что "из Ходасевича зреют знакомые жесты Боратынского, Тютчева, Пушкина". Это замечание, даже если его принять *cum grano salis*, имеет обоюдоострый смысл, потому что такой комплимент может стать лишним доводом для оспаривания набоковских славословий. Была в творчестве Ходасевича еще другая сторона, как бы тормозившая его взлет: в первом стихотворении первого его поэтического сборника двадцатилетний и еще неопытный поэт писал:

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,  
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.  
Там круглый год владычествует осень,  
Там — серый свет бессолнечных лучей.

Увы, этот первый полунощеский стихотворный опыт оказался в какой-то мере пророческим. В умных, часто слишком рассудочных стихах Ходасевича, идущих вразрез с пушкинским ироническим замечанием о "глуповатости" поэзии (кстати сказать, Ходасевич впоследствии комментировал скрытый смысл этого замечания), всегда, вплоть до самых последних его лет, вплоть до его онемения, ощущалась его безблагодатность, сказывалось, что его творчество было пропитано "бессолнечными лучами".

Я еще раз сошлюсь на Андрея Белого, с которым, несмотря на их полную "несовместимость", Ходасевич в течение ряда лет поддерживал тесные отношения. Белый писал о своем друге, а отчасти и "протееже": "вздев пенсне, расчесавши пробориком

черные волосы, он удивлял умением кусать и себя и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпиончика". Как ни гиперболичны характеристики Белого, в них всегда — пусть в кривом зеркале — отражена действительность. Подмеченную Белым черту Ходасевич пронес до конца дней и, может быть, именно она придавала характерную остроту его писаниям, как прозе, так и поэзии. А были у него не только хорошие, но и прекрасные стихи. Между тем в современной русской поэзии прекрасные стихи можно пересчитать по пальцам, и этого не следует забывать.

Судьба Ходасевича сложилась во всех отношениях тяжело — душевно, материально, физически (был он очень болезнен). Ему всегда чего-то недоставало, иногда самого элементарного, того, что, как ему казалось, было налицо у всех его окружавших; ему всегда чудилось, что его недостаточно ценят читатели и редакторы. Даже его дружеские отношения никогда не были устойчивыми и по разным привходящим причинам то и дело надламывались. Он умер в самый канун грозных событий 39 года, но страшно подумать, как при его житейской неприспособленности он пережил бы черные годы оккупации.

Но вот эти годы миновали, и зарубежный литературный мирок вошел в новую полосу, ни в чем со старой не сравнимую. Этот мирок возглавляется уже новыми именами, пришельцами, перекочевавшими на Запад и считающими, что до них в литературном отношении за рубежом было некое "зияние" или, вернее, существовало кое-какое подобие литературной "богадельни", в которой доживали и "что-то" дописывали старики, имена которых при "царе Горохе" гремели по всей России. Этих стариков и их писания молодое поколение намеренно игнорировало, считая их себе несозвучными.

Казалось, что и Ходасевич разделит судьбу этих стариков. Да как же по-другому могла сложиться литературная судьба поэта, который свой предсмертный стон мечтал "облечь в отчетливую оду".

А все-таки шли годы, и становилось все более и более очевидным, что "иероглифами" и чрезмерно вольным обращением с отечественной просодией не вскарабкаться на российский

Парнас, что поэзия не в искусственных изломах и полуграмотном верчении слов. Ведь по существу ей ближе всего кажущаяся устарелой и вызывающая к себе ироническое отношение формула, гласящая, что поэзия — это "лучшие слова в лучшем порядке".

Ходасевич был человеком не в меру сложным и во многом "двойственным", другими словами, Ходасевич-поэт не всегда шел в ногу с Ходасевичем-человеком.

Как поэтому для него характерно, что, посетив воспетую Пушкиным Brentу, он увидел только "рыжую речонку" и приметил в ней "мутные струи" (хотя Байрон уверял, что от нее исходит "ароматный пурпур новорожденной розы"), добавляя, что именно с той поры полюбил он "прозу в жизни и в стихах". Но все же можно поручиться, что проза в жизни редко когда соответствовала у Ходасевича прозе в стихах. Подлинно:

...Так и всегда на середине  
Рокового земного пути:  
От ничтожной причины — к причине,  
А глядишь — заплутался в пустыне,  
И своих же следов не найти.

Так сложилась судьба Ходасевича, такова была судьба многих: он, действительно "заплутался" в жизни, и это было его бедой.

\* \* \*

Когда теперь произносят имя Ходасевича, при том все более редко, точно оно вышло из "моды", в первую очередь рождается мысль о поэте, об авторе "Тяжелой лиры". Упускают из виду, что, хотя бы по своему физическому весу, в его литературном наследстве проза во много раз перевешивает его количественно "скудную" лирику, но в то же время было бы трюизмом повторять, что был он и замечательным стилистом и проницательным, хоть и непокладиным, не всегда объективным критиком. Впрочем, это последнее его свойство едва ли можно поставить ему в укор и жесткие слова Горького, что "Ходасевич действительно зол, очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к

сожалению, он делает из своей злобы — ремесло” в значительной мере справедливы. Справедливы еще и потому, что критика, лишённая язвительности, становится тем самым пресной и сводится к некому расшаркиванию.

Во всяком случае, какими бы они ни были, доброжелательными или озлобленными, статьи Ходасевича всегда возбуждали и не перестают возбуждать интерес и редко когда оставляют читателя равнодушным.

Вспоминая Ходасевича-прозаика, хотелось бы в первую очередь напомнить, что он был автором книги о Державине, вероятно, лучшей из русских беллетризованных биографий и замечательной еще тем, что писалась она вдали от архивов и библиотек и что, взяв в основу тысячстраничную тяжеловесную биографию академика Грота, Ходасевич из скучнейшего и кропотливо-безрадостного трактата создал подлинно художественное произведение наподобие того, как шлифовщик бриллиантов из несуразного по форме и тусклого минерала, удаляя лишнее и сглаживая неровности, создает подлинную драгоценность.

А ведь, кроме очень специальной книги о повторениях у Пушкина и восьми написанных с литературным блеском развернутых некрологов, составивших книгу ”Некрополь”, по многочисленным эмигрантским периодическим изданиям рассеяно более трехсот статей Ходасевича.

Так, для примера, когда отмечалось 25-летие со дня смерти Чехова, Ходасевич был ”по горло” погружен в работу над биографией Державина и эта работа притягивала к себе все его мысли. Где уж тут было думать о Чехове. Между тем, ему как присяжному литературному критику газеты упустить чеховский юбилей было невозможно. Вот он и начал свою статью, занявшую несколько печатных страниц, параллелью между Чеховым и... Державиным, подчеркивая при этом, что ”труднее даже нарочно выискать двух русских писателей, двух людей столь несхожих, столь чуждых друг другу, как эти два”. Конечно, то, что один поэт, а другой прозаик не главное между ними различие и Ходасевич затем подробно перечислял эти различия. Но какими бы остроумными не были эти противопоставления, они все-таки остаются более или менее хлестким фельетонным материалом и

отчасти льют воду на мельницу одного из современных критиков, которого тут же оспаривал сам Ходасевич, и который, говоря о Чехове, сказал, что он ”прекрасный писатель своего момента”. Ходасевич утверждал — и тут едва ли возможен спор — что или одно или другое: если это писатель ”своего момента”, то уж никак не ”прекрасный”. Замечание это, кстати сказать, обоюдостро, потому что в такой же мере может быть отнесено и к критику, и именно эта извергнутая из небытия статья о Чехове может вызвать подозрения, что и ”Ходасевич был прекрасным критиком своего момента”. А как-никак такой вывод был бы в корне несправедлив.

Равным образом и в других статьях, включенных в сборник, немало суждений, продиктованных именно моментом. Причисляем к ним хотя бы неумеренно резкие нападки на Маяковского, создающие впечатление, что Маяковский когда-то наступил Ходасевичу на любимую мозоль. Читая этот его некролог, без всякой с ним связи, вспоминается признание Розанова о том, что он всю жизнь язвительно полемизировал с профессором Венгеровым, хотя венгеровское пристрастие к Пушкину он считал трогательным. ”Но все вышло случайно”, — пишет Розанов, — ”взгляну на его живот, уже пишу огненную статью, только оттого, что Венгеров толст и черен”. Маяковский не был ни толст, ни черен, и его можно было не любить, любить его было даже много труднее, чем не любить, но как-то неловко и малоубедительно начисто отрицать его талантливость и его место в современной русской литературе.

Это надуманное отрицание должно счесть некоей ”случайностью”, вероятно, вызванной побочными причинами, одной из тех случайностей, которые тяготеют над каждым из нас. Ведь и ”случайно” Ходасевич на какой-то срок сошелся с Горьким, с которым по существу у него не могло быть какой-нибудь внутренней созвучности, ”случайно” он с ним затем и разошелся, а попав в эмиграцию, ”случайно” оказался сперва в русской газете с социалистическим уклоном, потом в другой, либеральной, чтобы надолго осесть в третьей, определенно ”правой”.

Думается также, что было бы более разумно не включать в переиздание сборника избранных ходасевичевских статей его

эссе о Сирине, хотя бы потому, что если Ходасевич прозорливо уверовал в будущее молодого "Сириня", то до "Набокова" он не дожил. Потому его оценки формы сиринского творчества были своего рода гаданьем на кофейной гуще, и высказывания самого Набокова о Ходасевиче ни для кого не были секретом, и потому невольно вспоминается басня о петухе и кукушке. Лучше было бы отложить до полного издания статей Ходасевича то, что относится к Поплавскому. Кажется слишком категоричными заявления об обстоятельствах преждевременной смерти молодого поэта, которые с полной определенностью никогда не будут обнаружены. Но Ходасевичу непременно хотелось поставить все точки над "i", чтобы обличить якобы материально преуспевавшее старшее писательское зарубежное поколение, которое, по его мнению, не поддерживало своих младших братьев.

Не оспаривая Ходасевича, стоило бы только отметить, что бытовая бедность или даже нищета (нет ли тут преувеличения?) этого поколения, о которой он пишет с подлинной слезой, объяснима отчасти тем, что многие из его представителей заработков и не искали, считая, что их причастность к литературе достаточна, чтобы обязывать более имущих приходить им на помощь.

Неоспоримо замечание Ходасевича, что "в условиях современной жизни, когда писатель стал профессионалом, живущим на средства, добываемые литературным трудом, читатель необходим ему не только, как аудитория, но и просто, как потребитель". Беда только в том, что ни в одной стране и ни при каких политических условиях ни один писатель никогда не становится "на ноги" после первой книги. Каждому предстоит длительный и часто тернистый стаж и литература никогда не была "благодатью".

Хотелось бы между тем отметить, что отрывки из "Воспоминаний" резко отличаются от статей, они написаны в совершенно другом ключе и во многом созвучны со статьями "Некрополя". В них автор словно приобретает свободу отойти от часто назойливых, но с определенной целью нанизанных фактов, которые лишают его какого-то размаха и известной художественности и даже если в них кое-что стилизовано, то читателя это смущать не может. "Слезам" можно обливаться и

над вымыслом.

В заключение хотел бы отметить, что читая недавно записки одного из секретарей Корнея Чуковского, я наткнулся на такое замечание: "Чуковский втолковывал, что давая примечания, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книги ненужными комментариями, не показывать ему своей учености". Вспомнил я это, читая предисловие и примечания к избранной прозе Ходасевича. Укажу хотя бы на то, что в предисловии говорится, что "вокруг Ходасевича как поэта и критика, сгруппировалось все, что было талантливо среди нового поколения и что оказывалось впоследствии наиболее жизнеспособным в условиях эмиграции и эта жизнеспособность отличает окружение Ходасевича от тех, кто группировался вокруг Цветаевой или "Цеха поэтов". Любопытно было бы узнать, на чем столь голословный диагноз основан? Где те "ученики" или последователи Ходасевича, если вообще были таковые, которые свою "жизнеспособность" показали?

\* \* \*

С зловещей неумолимостью, с быстротой горного потока, исчезают один за другим годы, и мне трудно осознать, что прошло уже целых десять лет (а какой это долгий в человеческой жизни срок) с того дня, когда я в последний раз говорил с *Адамовичем* по телефону. Он тогда только что вернулся в Париж, чуть растерянный и утомленный после своего путешествия за океан, с медицинской точки зрения очень для него рискованного. А я тогда собирался приехать на несколько дней в Париж, чтобы подготовить мое окончательное возвращение из Мюнхена, где я работал на радиостанции, и хотел сговориться с Адамовичем о встрече. Он ответил, что ему необходимо отдохнуть после всех треволнений и он едет в нежно любимую им Ниццу, на сей раз почему-то на автокаре, наиболее утомительном из всех способов передвижения.

Он сказал — это врезалось в мою память, — что покинет Париж в четверг "с петухами", а именно в этот самый четверг я намеревался приехать и просил Адамовича отложить свою по-



ездку хотя бы на один день, чтобы провести вечер вместе. В связи с переменами в моей жизни было о чем поговорить, тем более, что, как я думал, они косвенно могли коснуться и его. Он возразил, что уж больно хлопотливо менять даты отъезда, но что на юге он останется совсем недолго, ждет к себе из Польши родного племянника, которого никогда не видал, а так как я окончательно водворяюсь на берегах Сены, то через неделю-другую у нас будет достаточно времени, чтобы наговориться. Он был, конечно, прав, но судьба поступила по-своему.

Через несколько дней после моего возвращения в Мюнхен я получил телеграмму о его неожиданной кончине. Был уверен, что кто-то что-то перепутал и долго проверял полученное горькое известие. А как ни странно, еще через несколько дней, придя на службу, нашел на своем письменном столе конверт со знакомым почерком, и у меня долго не хватало решимости его вскрыть. Было, как мне казалось, в этом письме что-то колдовское, точно оно пришло из потустороннего мира, а касалось оно всего лишь какой-то очередной адамовической радиопередачи.

Но еще теперь, после стольких лет, мне все еще трудно писать о человеке, который был не только близким знакомым, но одним из тех подлинных и редких друзей, чей уход не перестаешь почти физически ощущать, с которым то и дело хочется как-то связаться, закончить прерванный разговор и отвести душу, то есть, поговорить о пустяках, о тех самых "пустяках", которые становятся смыслом жизни и которые так ценил Адамович, меньше всего любивший так называемые разговоры по душам, выяснения отношений или споры на те абстрактные темы, о которых принято писать с заглавной буквы.

Я познакомился с ним чуть ли не в день его приезда на Запад, это было в 1922 году, когда он на несколько дней остановился в Берлине по дороге во Францию, где уже находились его родные: мать, больная сестра и тетка, у которой еще была целая вилла в приморском Болье. Затем я встречался с ним в те смутные годы между двумя войнами, которые французы правильно окрестили безумными, но встречался сравнительно редко, жили мы тогда в разных "широтах", а встречи на Монпарнасе,

когда он был всегда окружен "молодыми" поэтами, нас мало сближали, не давали мне возможности оценить его внелитературно.

Подлинная дружба с ним началась, собственно, только после трагического французского поражения, когда мы (оба демобилизованные, оба бывшие добровольцы и, может быть, в этом заключалась отправная точка для большего взаимопонимания) очутились на анахроническом в те дни Лазурном и в меру мрачном тогда берегу "у разбитого корыта". С тех уже давних лет виделись или общались мы постоянно, и установились между нами те отношения, когда понимаешь друг друга с полуслова.

Потом был послевоенный, уже "не тот" Париж, затем Адамович нехотя, ради возможности содержать полупарализованную, жившую с ним сестру, отправился в Манчестер преподавать русскую литературу, и мне примерно тогда же подвернулась заманчивая работа в Мюнхене. Но и на отдалении мы постоянно переписывались (у меня сохранилось, вероятно, около двухсот писем Адамовича), а, кроме того, нередко "на казенный счет" говорили по телефону, и в течение ряда лет я проводил летние отпуска с женой в предместье Канн, в домике, который предоставляли нам друзья, и стало традицией встречаться с Адамовичем в уютном ниццском рыбном ресторане, а потом болтать и сплетничать до того момента, когда Адамович провожал нас до вокзала, в последние годы ворча, что я шагаю неумеренно быстро. Помимо того, он не раз посещал нас в Мюнхене, и моя жена до сих пор уверяет, что она никогда не встречала более приятного и деликатного гостя.

Как-то само собой вышло, что между нами — в письмах и разговорах — возник тот непринужденный, дружески-домашний тон, когда все можно было называть своими именами, говорить о серьезном как бы полушутя, а шутливость преобразовать в серьезное. Каюсь, мне импонировало некоторое непостоянство Адамовича в оценках, даже в каких-то не всегда второстепенных или даже полувторостепенных вопросах, те его колебания, из-за которых люди, его не понимавшие, с присущей им близорукостью считали, что у него "семь пятниц на неделе".

В своем роде он был удивительным человеком и — я ци-

тирую приведенную им самим чью-то чужую фразу — он, "как все очаровательные люди, был исполнен противоречий". Но это его обаяние было врожденным, он никогда не стремился говорить какие-либо "приятности", не стремился к авторитарности, больше того, в силу своего характера, прикрывал ее излишней скромностью и всякие "кажется" или "может быть", которыми переполнены все адамовические фразы, не были стилистическим приемом, а произвольно возникали потому, что он, действительно, почти во всем сомневался, иной раз ставя все на неверную карту, потому что был в буквальном и переносном смысле игроком, отчасти в духе героя Достоевского.

Сейчас принято, с некоторым оттенком иронии, говорить о нем как о создателе некой — в общем неудавшейся — поэтической парижской школы или "парижской ноты". Но ведь меньше всего был присущ Адамовичу талант учительства, меньше всего был он создан для какого-то руководства. Да к тому же, если теперь подобрать то, что было создано той поэтической группой, которую окрестили "парижской школой", то станет вполне очевидным, что ее представители, среди которых были весьма талантливые поэты, может быть, и были связаны между собой приятельскими отношениями, но поэтически продвигались "кто в лес, кто по дрова", и адамовические наставления или, вернее, произнесенные им вслух за чашкой кофе пожелания усвоили два или три из парижских стихотворцев.

Он говорил однотонно, никогда не повышая голоса (едва ли он умел его повышать), никогда не прибегал ни к какой ораторской акробатике. Между тем, оратором был превосходным и убедительным, притом всегда казалось, что говорит он экспромптом, хотя свои выступления заранее обдумывал, но никогда их не записывал. Он умел быть остроумным и даже иногда острым на язык, но свое остроумие не выставлял напоказ, как бы приберегая его для более интимной обстановки.

Я думаю, что больше литературы, больше своего "ремесла" критика, заставляющего его читать книги, большинство которых, по его словам, обладают крайне малым удельным весом, он любил балет и музыку, хотя ни на каком инструменте не играл, но зато обладал огромной музыкальной памятью, и стоило

только кому-нибудь воспроизвести первые такты из любого отрывка "Тристана" или "Зигфрида", как он мог безошибочно закончить вагнеровскую фразу. В его любви к Вагнеру было даже нечто не вполне совпадающее с его обликом: ведь он не терпел театральности и бутафорий и меньше всего какого-либо нажатия педалей и ощущал безблагодатность вагнеровского вдохновения.

Он никогда не считал, что звание поэта — признак какой-то избранности, не думал, что стихи — ответ на все проблемы и, вероятно, не раз припоминал язвительные слова Боссюэ о том, что "поэзия — самый хорошенький из всех пустячков".

Интересы его были очень обширны, он часто задумывался над социальными и политическими вопросами, хотя мало о них говорил, но не надо забывать, что по просьбе друзей он написал с несвойственной ему дотошностью и "блеском" двухсотстраничную монографию о Маклакове — политике, юристе и, главное, человеке, внутренне от него далеком и, собственно, мало ему знакомом.

Он писал — это почти была одна из его навязчивых идей — о черновиках, искренне считая, что именно черновики ценнее отшлифованных для печати версий, что только в них обнаруживается подлинное лицо автора. Он, конечно, восторгался "Гимном чуме", но, признавая эти строки одним из чудес русской поэзии, как бы шепотом уверял, что его больше пронзает, больше к себе притягивают простые слова Татьяны из последней главы "Онегина", без метафор, без украшений, но с невероятным внутренним напряжением, с трагической отповедью: "Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом?" Адамович и в жизни, и в людях сторонился всякой приперченности и больше всего ценил дар остановиться вовремя — паскалевский "дар молчания". Да оно, вероятно, и естественно, потому что под влиянием все усиливающегося сердечного недомогания он все чаще и упорнее думал о "проклятой курноске", как говорил Чайковский, и ее черная тень и тревожила, и одновременно успокаивала его, потому что он сознавал, что она-то и есть "всех загадок разрешенье". Эти загадки он никогда не боялся самому себе загадывать.

Не раз говорил он, что не перестает делать отрывочные записи, которые должны были составить второй том лучшей в его литературном наследстве книги "Комментарии". Но вот он неожиданно скончался в любимой своей Ницце, как неожиданно от инфаркта умирают все сердечные больные, умер вдалеке от своей неуютной поднебесной (но без лифта) квартирке, единственным комфортом которой был телефон, и рукописи его как-то расплылись, словно исчезли в небытии, и это, пожалуй, огромный для зарубежной русской литературы урон.

Ведь, в конечном счете все, о чем писал Адамович, так сказать, "для души", для себя, не выполняя роли присяжного критика, может быть выражено двумя его собственными строчками. Ведь во всех своих писаниях он порой с оттенком скептицизма и не без внутренней иронии комментировал ту же вечную тему:

О том, что мы умрем. О том, что мы живем.  
О том, как страшно все. И как непоправимо...

\* \* \*

Я пишу, сидя на террасе небольшой виллы, в том самом причудливо построенном спирально старинном провансальском городке, где Пикассо жил и умер. Вдали по правую руку виднеются зеленые виноградники на предгорьях Эстерели, по левую — в ясную погоду сквозь кущи деревьев просвечивает море. Гигант-кипарис высится, словно некий маяк, бросает на террасу живительную тень. Поистине райская обстановка, в которой вот уже чуть ли не двадцать лет я провожу с женой сентябрь месяц. Это постоянство вызывается тем, что мы можем пользоваться домиком друзей — притом в их отсутствие!

Издавна полюбил я этот южный угол Франции, где бывал бесчисленное число раз и где многое пережил — эпическое и лирическое. Но вот сегодня мной овладевает грустное чувство. Почему? В послевоенное время, помимо природы и солнца, притягивало меня сюда еще то, что где-то неподалеку в летние месяцы проживало несколько друзей, повидать которых стало

почти физической необходимостью. Увы, "иных уж нет, а те далече" — нет не "иных", никого из них больше нет...

В число этих теней я в первую очередь должен включить Адамовича. Хоть мы, даже живя в разных городах, не раз встречались в течение года и постоянно переписывались, но летом поездки для свидания с ним в "о, эту Ниццу" были традицией. Установилась не терпящая изменений программа: встреча в рыбном ресторане, а затем сидение в уже несуществующем кафе на Английском променаде. Жена исчезала, чтобы поглазеть на широковещательные витрины, а я оставался с Адамовичем и мы болтали до изнеможения. О чем? Не было, кажется, темы, которой мы бы не коснулись, ни знакомого литератора или литературной дамы, которых мы бы не вспоминали, придавая им, как водится, шаржированные черты. А что приятнее?

Затем жена возвращалась, и Адамович провожал нас на вокзал. В последние годы он шел уже непривычно медленной походкой, все бурча: "Куда вам спешить, ведь поездов до черта". Хоть он и скулил по поводу своего сердца, я еще не отдавал себе ясного отчета, что жизнь в нем, действительно, уже едва теплилась, что она, как тютчевская птица, "подняться хочет и не может".

Мне грустно, потому что здесь я особенно четко ощущаю, как мне его недостает. Не хватает приятеля, с которым можно было говорить обо всем, в любом ключе, о пустяках и о серьезном. Ведь делиться радостями можно с каждым, труднее обсуждать свои "печали".

Теперь Адамовича забывают, память о нем "затирают" и, может быть, хуже того — вспоминая его, в его уста частенько вкладывают слова, которые он не способен был произносить. Те, которые с ним не встречались и только с чужих слов ораторствуют о той атмосфере, в которой в довоенные годы протекала жизнь зарубежной русской литературной среды, упрекают его в некотором "учительстве", чуть ли не стремлении к верховодству, с оттенком иронии говорят о создании им некой поэтической "парижской школы".

Ведь это по существу пустые домыслы людей, которые "слыхали звон, да не знают, где он". В одну кучу сваливают всех

литературных людей, которые в определенные дни, в определенном монпарнасском кафе усаживались с ним за один стол, упуская из виду, что за этим столом царил полнейший поэтический разброд. Одни как будто шли за Гумилевым, другие вторили Пастернаку, были и такие, кто поклонялся Хлебникову, и, собственно, каждый шел своей собственной дорогой или дорожкой, тогда как сам Адамович, как никто другой, был противником создания какой-то "школы", врагом каких-либо "внутренний".

Мудрейший, но всегда чуть еретический Лев Шестов где-то написал, что "Адамович крепко держится за мир обыденностей", другие изображали его чуть ли не каким-то богоискателем, кстати сказать, в их преломлении весьма примитивным. И то и другое представляется мне крайне субъективным. Слова Шестова, очевидно, вызывались рецензией Адамовича на его книгу, в которой за изгородью словесных реверансов, возможно, таилась капелюшка дегтя, незаметная для читателя, но колющая автора. Впрочем, это отнюдь не мешало тому, что Адамович очень высоко ценил Шестова, хоть далеко не во всем с ним соглашался.

За "мир обыденностей" — ни в бытовом, ни в духовном плане — он, конечно, не держался. Зато о "тайнах бытия", несомненно, думал больше других, хотя едва ли походя излагал кому-либо мучившие его мысли. Скрытен он не был, его скорее можно было упрекнуть за то, что у него "душа нараспашку"; но он считал, что мысли о "несказанном" слишком интимны, чтобы ими невзначай с кем-либо делиться. А они подлинно его мучили, и он то примирялся, то резко отталкивался от того, что "все кончится лопухом на могиле", как это было сформулировано Толстым.

Кто только не нападал на Адамовича за непостоянство мысли, за капризы в его критических оценках, за обилие "вероятно" и "может быть"! Да, из песни слова не выкинешь, упрек этот можно считать законным, но именно в этом сознании собственной неуверенности заключалась доля его обаяния. Не то, что у него было "семь пятниц на неделе", но, высказав какую-то мысль, он сразу начинал думать: а может быть, я промахнулся, может быть, навязываю читателю мое личное мнение, до ко-

торого ему и дела нет? Он знал, что неоспоримых оценок вообще не бывает.

Когда-то, это было еще задолго до войны, он вдруг уверовал, что если литературной эмиграции суждено будет когда-либо вернуться в Россию, то в свое "оправдание" она с успехом сможет предъявить некий сюрреалистический роман, который едва ли нашел с десяток читателей и о существовании которого сам Адамович на следующий день забыл. Но под влиянием минуты его поразила необычность книги, в ее сумбуре он почувствовал "глубокость" — и тотчас же вскочил на ходули, обрадовался своему открытию, сам себе поверил, чтобы затем скорбеть о написанном.

Может показаться парадоксом, но, по существу, литературе он предпочитал музыку и балет, был едва ли не последним рьяным русским вагнерианцем и приходил в бешенство, когда я уверял его, что не в силах досидеть до конца любой из вагнеровских опер.

А ведь в одно из своих последних стихотворений он включил строки:

Литература — приглашенье в ад,  
Куда я радостно входил, не скрою,  
Откуда никому — пути назад.

Литература завладела им, хотя беглое чтение книжных новинок, к чему обязывала его профессия, было ему часто не в состоянии. Писанию критических статей, к которым прислушивались даже "маститые", постоянно ругавшие его за легкомыслие и относившиеся к нему с некоторой иронией, он предпочитал набрасывание отрывочных записей — почти для воображаемого письменного стола (настоящего у него и не было). Из них и составила превосходная его книга "Комментарии" — некое "оправдание черновиков". В его мансарде должны были, думается мне, сохраниться и другие записи, потому что он не раз говорил о своем желании издать второй том "Комментариев". Но умер он внезапно, в Ницце, куда приехал отдохнуть после утомившей его американской поездки, и его архивы невесть как канули в Лету. Не стану винить его душеприказчиков — могу только

выразить глубокое сожаление, что их халатность привела к образованию пробела в зарубежной русской литературе. И сейчас мне особенно грустно об этом думать, как грустно сознавать, что я не могу больше встретить его на такой отсюда недалекой ниццкой Promenade des Anglais — месте наших постоянных — еще с военных лет — встреч.

*(окончание следует)*

РОМАН ГУЛЬ  
"РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ",  
"РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

(\$15.00 и \$18.50 плюс пересылка).

Заказы посылатъ в редакцию  
"Нового Журнала".

Александр Бахрах

## По памяти, по записям...

### III

(Окончание)

\* \* \*

У меня плохая память на лица и, как я ни старался, не удавалось мне мысленно восстановить его физический облик, а между тем, при чтении его стихов, как редко когда, хотелось видеть перед собой хотя бы его тень, потому что его стихи, неизменные коротышки, вызывали желание поговорить с их автором, отнюдь не спорить с ним, но скорее услышать от него то, что он недосказал; ведь каждое свое стихотворение он словно обрывал, не дописав его.

Впрочем, встречался я с ним считанное число раз. Вел он какой-то необычный для той предвоенной эпохи, когда странствия по Европе были в диковинку, непоседливый образ жизни. Он то появлялся в Париже и в качестве гастролера приходил "окунуться" в атмосферу русско-монпарнасской богемы, то надолго исчезал и недаром местом написания его стихов значатся чуть ли не все европейские столицы.

Перечитывание его после долгого промежутка времени, восстанавливая в памяти его строки, показывает их неустарелость, их непреходящую ценность и, кроме того, невольно служит напоминанием об избитых и пустых разговорах о никогда не существовавшей "парижской школе" в русской зарубежной поэзии или хотя бы о с точностью неопределимой "парижской ноте", которая якобы создавалась благодаря некоему учительству Георгия Адамовича. В глазах иных крити-

ков, малосведущих в тогдашней обстановке, Адамович рисовался кем-то вроде поэтического Савонаролы, который не переставал проповедовать, что надо писать проще и скромнее, всегда о "самом главном", об одиночестве, страдании и смерти и при этом отказываться от громких слов и всякой изощренности. Между тем трудно вообразить человека менее склонного к какому-либо "учительству" нежели Адамович с его переливами, перескоками, с его критическим непостоянством. Ведь, если только вдуматься, он больше всего ценил в поэзии то, что по слову Аполлона Григорьева, "дает она объективному пониманию таинственности и неопределенной безъязычности ощущений" и Штейгера больше чем других несомненно прельщала кажущаяся зыбкость таких слов.

Но все же, если вернуться к разделению поэтических тенденций по местожительству их авторов, то надо отметить, что надуманная "парижская школа" объединяла поэтов исключительно за чашкой кофе на террасе какого-нибудь кафе или ради нескончаемого "выяснения отношений", унаследованного от Коли Красоткина. Создать некую зарубежную "Плеяду" никому никогда и во сне не снилось, а на монпарнасских встречах собирались такие разные и часто друг другу противоположные по поэтическому строю поэты, как мечтательный и плавающий в облаках Поплавский и нецеломудренный Божнев, склонный к эзотеризму Терапиано и романтический, всем недовольный Ладинский, косноязычный Мамченко и сторонник "прекрасной ясности" и земных яств Раевский, мечтавший стать "певцом во стане белых воинов" Смоленский и жизнерадостный, хоть и не перестающий вспоминать библейских пророков Кнут, а рядом любитель славянизмов и одновременного любого новаторста Гингер или дневниковая Червинская. Перечень этот можно было бы легко удлинить, потому что среди этого поколения, не без налета жеманства считавшего себя "незамеченным", попавшего в силки истории и лишеного многих иллюзий, было, особенно если принять во внимание всякие статистико-демографические выкладки, непомерно большое число талантливых поэтов. Опять-таки по вине истории имена их

стираются даже в памяти немногих еще живых современников, уступая место новым и шумливым "калифам на час", а то и на полчаса.

Впрочем, если отыскивать какую-то особую ноту в зарубежной поэзии, ту, которую по отсутствию изобретательности называют "парижской", то наиболее несомненным ее представителем окажется именно Анатолий Штейгер, хотя бы потому, что он один из немногих, действительно, отзывался на полусерьезные, полушутливые, часто дразнящие, но всегда благожелательные слова Адамовича. Штейгер, вероятно, подолгу их взвешивал и проветривал, и они в какой-то мере оказывали влияние на его поэтику, но при этом под тем, что в штейгеровских стихах было по существу заложено, далеко не всегда подписался бы Адамович, потому что сам он всегда сторонился "соблазнов" поэзии, хоть не всегда мог против них устоять.

Штейгер, пожалуй, не без основания полагал, что в его кругу "все писали стихи/ в восемнадцать лет,/ потому что всегда/ каждый мальчик поэт", но в то же время отчетливо сознавал, что:

"Настанет срок (не сразу, не сейчас,  
Не завтра, не на будущей неделе),  
Но он, увы, настанет этот час, —  
И ты вдруг сядешь ночью на постели  
И правду всю увидишь без прикрас,  
И жизнь — какой она на самом деле..."

Точно он смолodu предвидел, что будет "на самом деле", что "будет серая тьма жестока/ И никто нам уже не поможет,/ Лишь прохожий, что два медяка/ На глаза, а не в чашку положит". Это свое восьмистишие (я привел только последние строки) Штейгер снабдил эпиграфом из Анненского. Но дело не в эпиграфе, а в том, что ему иногда, пускай очень редко, но все же удавалось подхватить некое дыхание Анненского, крупницу того, что вложено в "Смычок и струны", то есть то, о чем говорят слова "что было мукою для них,/ а людям музыкой

казалось" и что в каком-то смысле было доминантой всего поэтического творчества Штейгера.

Над одним из своих стихотворений он надписал слова незадачливого Рюрика Ивнева — "ты знаешь, у меня чахотка и я давно ее лечу". Это было трагично, потому что в полной мере относилось к его собственному состоянию, трагично еще и потому, что для того, чтобы показать точащую его тревогу и перебороть страх неизбежного, скорого конца, ему пришлось воспользоваться, вероятно, случайно замеченной строкой поэта, с которым ему не могло быть по себе и который не был способен говорить до "последней в сердце жалости", пронизывавшей Штейгера в его предзакатные, хотя относительно еще молодые годы, когда он писал: "Не до стихов... Здесь должен прозой говорить всерьез / Тот, кто дерзнул назвать себя поэтом". А на следующей страничке и едва ли это случайно, так как сборник "Дважды два" вчерне был запланирован самим автором: "Глупо, смешно и тяжело/ Помнить годами вздор:/ Синюю эту рубашку,/ Синий ее узор./ Пояс. На поясе пряжку". "Помнить вздор" и пряжку на поясе, говорить о любви и жалости и основную мысль вставлять за ширмы скобок, словно ими запрятывать те переживания, которые, мол, иначе не разгадает его читатель — таковы особенности штейгерского поэтического творчества, в котором проступает интимизм, мало свойственный современной поэзии, особенно той, которая силится открывать новые поэтические миры и считает себя "авангардной". Оттого, перечитывая сборник Штейгера, создается впечатление, что слышишь знакомый голос в телефонную трубку. Есть что-то несуразное и жестокое в том, что этот с детства больной и обреченный человек утонченной культуры, переполненный какими-то противоречивыми политическими идеями, которые были для него своего рода игрой, мало с кем по-настоящему общавшийся, но всех знавший, не успел показать себя во весь рост. Несомненно он был одним из тех "poetae minores", кому будет уделено хотя бы несколько строк в той бесцензурной истории русской поэзии, которая когда-нибудь будет написана.

\* \* \*

Иной читатель способен подумать, что я склонен позлорадствовать над человеком трагической судьбы, притом одним из наиболее блестящих и начитаннейших русских литературоведов нашего века, князем *Святополком-Мирским*. О самом Святополке-Мирском я могу вспоминать только с чувством искреннего уважения к его трудам и глубокого сострадания к его извилистому и терпкому жизненному пути.

Но почему я вспомнил о нем? Не так давно мой маститый приятель Глеб Струве писал мне, что работает над вступительной статьей к антологии "Русская лирика", составленной Святополком-Мирским более полувека тому назад.

Я выражал Струве свои сомнения в полезности такого предприятия. Антология не могла не устареть. Ведь она отражала пристрастия составителя в момент его работы над ней, а эти пристрастия должны были постепенно эволюционировать. А к тому же, говоря серьезно, как можно было на 150 страницах представить огромность русской лирики и чем руководствоваться при отборе 47 поэтов, если не личным вкусом?

Поставив точку и оглядывая свою работу, составитель антологии должен был неминуемо воскликнуть: "ты сам свой высший суд", а если тот или иной читатель стал бы его оспаривать, то должен был пенять на самого себя, так как для отбора никаких научных критериев существовать не может.

Как бы то ни было, антология вышла, и я готов признать свою близорукость. Дело, конечно, не в том, что в нее включены такие-то стихотворения и не удостоились этой чести другие, что при отборе поэтов Святополк-Мирский иногда проявлял некую "капризность", включая иных, надежд не оправдавших, и исключая других, эти надежды перевыполнивших, что нередко он не "удосужился" включить в книгу даже тех, о которых с пафосом говорит в своем кратком введении. По существу, его книга — альбом наиболее любимых им стихотворений, и потому гораздо более любопытно, чем само их собрание, то предисловие, которое ему предпослано и



те чрезмерно лаконические, но порой едкие замечания, которые его сопровождают.

А помимо всего, эту книжицу стоило переиздать хотя бы ради того, чтобы лишний раз помянуть Святополка-Мирского, автора весьма примечательной истории русской литературы, хоть и довольно краткой, но написанной не только с завидной эрудицией, но и с необычайным тактом. Эта история, как отмечает Струве, "хоть и стала настольной книгой для всех иностранцев, изучающих русскую литературу", но по-русски никогда не появлялась, а между тем другой, ей подобной, у нас нет. Когда Святополк-Мирский писал для иностранцев, он отказывался от "злостной полемичности" и не хотел ошарашивать их парадоксальностью своих суждений. Как говорил о нем один английский славист: "для иностранцев он писал вширь, для русских вглубь".

Эта "взбалмошность" Святополка-Мирского (да будет мне прощено неуместное слово), собственно, и послужила причиной его гибели. Будучи лектором Лондонского университета, весьма ценным не только в академических кругах британской столицы, но и в тех, которые именуются "обществом", он — бывший гвардейский офицер, аристократ по происхождению (и по манерам...), сын "либерального" по тем временам министра внутренних дел, неожиданно примкнул к еле-еле влачащей существование английской компартии, ораторствовал на митингах в Трафальгар-сквере и затем вернулся в Советский Союз.

Там на первых порах он проявил себя, как говорят французы, "большим роялистом, чем сам король". Думается, что делал он это вполне искренно, уж такова была природа этого человека.

Не берусь утверждать, но были распространены слухи, что поскользнулся он (а мог ли он где-нибудь не поскользнуться?) на статье о Пушкине, появившейся в юбилейном томе почтенного "Литературного наследства". Из-за этой самой статьи — подлинно "странной" под пером человека, написавшего о Пушкине недурную английскую книжку — он был тотчас причислен к "вульгарным социологам", а это в пушкинский

юбилейный год было едва ли не меньшим грехом, чем принадлежность к формалистам.

Посудите: Святополк-Мирский требовал, чтобы самый термин "пушкиноведение" был сдан в архив, потому что эта научная дисциплина якобы превращала Пушкина в "безликого божка". Кроме того, в статье утверждалось, что "Пушкин, хоть и был пионером буржуазной культурной революции, но капитулировал перед самодержавием, и лакейство проникало в самую сердцевину его творчества, диктуя ему стихи, равные по силе лучшим из его достижений".

Такие "переперченные" суждения могли прийти к двору несколькими годами раньше, но в 1937 году, в год "все-союзного" прославления Пушкина, хоть статья Святополка-Мирского и прошла все цензурные рогатки, она легко могла вызвать недовольство "в сферах". Пушкина тогда требовалось безоговорочно признавать национальным гением, и ни к чему было тыкать в нос его классовое происхождение, его "шестисотлетнее дворянство". Поэтому не так уж удивительно, что на фоне всего того, что творилось вокруг Святополка-Мирского, его "покровители" неожиданно оказались среди "врагов народа", а он угодил в Магадан, где и погиб.

Впоследствии, как водится, он был "посмертно реабилитирован" и даже удостоился того, что в Москве издали том его избранных статей, кстати сказать, редактор, подчеркивая оригинальность мышления Святополка-Мирского, ни словом не обмолвился о судьбе, постигшей его.

Сейчас я вспоминаю его бороду Черномора, пронзительный взгляд из-под блестящих глаз, его замечания, почти всегда колкие и с заметным стремлением эпатировать, произнести какое-нибудь "словцо", которое передавалось бы дальше. Вспоминаю, как он расточал славословия по адресу Помяловского, противопоставляя ему дряблость Толстого и Достоевского! Он делал это, казалось, совершенно искренне и если не вполне убедительно, то во всяком случае умно.

В предисловии к своей антологии он показал много вкуса и самостоятельной мысли, и можно только пожалеть, что по каким-то неясным причинам не включил в свой сборник

всего, что хотел. Он не включил, к примеру, прелестных сафических од Радищева, о чем тут же горько сожалел; не включил и, по его мнению, недооцененных Кюхельбекера и Одоевского, о которых восторженно отзывался в предисловии. Если касаться более позднего периода, пропустил Коневского и Комаровского, хоть и говорил о последнем, что этот поэт "сулит большую радость тому, кто его откроет". Он "забыл" включить в сборник и Ходасевича с Цветаевой, хотя о Ходасевиче говорил (это мнение можно оспаривать), что этот поэт "своеобразно возродил культуру поэтического остроумия на почве мистического идеализма", а раньше писал о нем, что "Ходасевич наиболее пушкинский и наиболее "сальеристский" из современных русских поэтов". Не раз письменно восхваляя Цветаеву, он отверг ее "за безнадежную распущенность москвички". Даже если с этим в какой-то мере согласиться, такая "ахиллесова пята" не может служить препятствием для включения цветаевской лирики в антологию. Такой пропуск бьет не по Цветаевой, а по сборнику.

В то же время приятно видеть, что составитель антологии изгнал из нее тех, кого он именует "поэтами на час", какова бы ни была их роль в историческом плане. Апухтин и Надсон, Мирра Лохвицкая и Северянин, Мережковский и Минский не появляются на страницах книги.

Стоило бы еще отметить некоторые замечания Святополка-Мирского в примечаниях к его книге. Например, он пишет, что "все, что говорилось о Пушкине, за редким исключением — скучнейшее словоблудие", включая знаменитые статьи Аполлона Григорьева и Достоевского, которые "гениальны, но ничего о Пушкине не говорят". Святополк-Мирский считает, что Лермонтов — единственный русский поэт, чему-то действительно научившийся у Пушкина (это надлежит запомнить), а рядом в тех же примечаниях можно наткнуться на такую фразу: "Некрасовские "Русские женщины" — скучнейшая механическая болтовня". Далее Святополк-Мирский утверждает, что Случевский хоть и был косноязычным, но был все-таки "гением" (пугающее слово!) и не стесняется говорить о "пустоте искусства Брюсова". Рядом с

этим как пронизательно его указание, что "Анненский был единственным европейцем среди русских символистов, почти единственным русским европейцем своего поколения, не учеником Верлена или Малларме, а их равноправным братом". Я привел эти несколько суждений, даже если из-за некоторых из них хотелось бы, будь такая возможность, вступить в словесный бой с их автором, чтобы показать их остроту, показать тот особо разреженный воздух, в котором составлялся сборник "Русская лирика".

Но как бы ни судить его автора, над безвестной могилой "товарища князя" можно только низко склониться, даже не разделяя его взглядов, даже борясь с ними.

\* \* \*

Писательский путь редко когда идет по прямой линии и едва ли не как правило разворачивается зигзагообразно. Это тем более заметно со стороны, потому что творчество писателя выдает его с головой. Так и случается, что одного писателя возносят еще при жизни и не перестают курить ему фимиам, а немного погодя в какой-нибудь газете появляется посвященный ему некролог, в котором не скупятся на самые возвышенные эпитеты. А вслед за тем покойника как бы не было, его перестают читать, редко когда вспоминают. Есть, однако, и другая писательская категория. К ней принадлежат те, которые по слову поэта "находят читателя в потомстве" и то, чего не уловили современники, через какой-то срок раскрывается потомкам.

Но вот — нелегко определить, к какой из этих двух категорий следует отнести *Евгения Замятина*. Жизненная его дорога, как и литературная карьера, шли — сам он очень любил это словцо — "непутево".

Был он человеком острого ума и — следует это особо подчеркнуть — понимал и ценил шутку. Был человеком ученым, по профессии инженером-кораблестроителем, уж чего лучше. Но какая-то "зловредная" муха сызмальства укусила

его, и он пристрастился к литературе. Больше, чем чертежи кораблей, любил исписывать своим мелким почерком белые листы бумаги, совмещая "законную" профессию, значащуюся в паспорте, с незаконной тягой к писательству. Сам признавался: "Русских недаром обвиняют в легкости нравов; вот, например, я — двоеженец и не стесняясь, вслух заявляю об этом. Такие случаи уже бывали: Чехов в своих письмах признавался, что у него две жены, законная — медицина и незаконная — литература. А мои две жены — техника и литература".

Действительно, литературно Замятин родился в давние времена, в самом начале десятых годов нашего века, когда появилось его "Уездное", сразу создавшее ему небольшое имя. Несколькими годами позже его повесть "На куличках", сюжетно отчасти перекликавшаяся с купринским "Поединком", нашумела благодаря тому, что — как нередко бывает — была запрещена царской цензурой и номер журнала, в котором она была напечатана, был конфискован, а его редактор предан суду. Что в те времена было лучше для создания популярности?

Впрочем, все это не помешало тому, что благополучно продолжая свою основную деятельность, Замятин был послан на английские судостроительные верфи следить за постройкой заказанного русским правительством "гигантского" по тем временам ледокола, после революции переименованного в "Ленин".

После сравнительно долгого отсутствия Замятин вернулся в Россию почти накануне октябрьских событий, и затем в первые годы советской власти, когда в невольской столице стал организовываться "Дом искусств", в котором нашли себе крышу, тарелку каши и скудное тепло заслуженные и начинающие литераторы, стали зарождаться всяческие литературные студии, а Горький, желая объять необъятное, основывал свою "Всемирную литературу", Замятин, уже признанный "мэтром", повсюду был желанен, всюду принимал деятельное участие, всюду был членом правления и впридачу редактировал ряд журналов, редко доживавших до второго номера. Одновре-

менно в студии "Дома искусств" он читал курс лекций о технике художественной прозы. Обладая недожинным педагогическим даром, он внушал зеленоротым беллетристам — в его учениках числились и прославившиеся вскоре "Серапионы" — мысль о том, что и прозу нельзя писать с бухты-барухты, таланта, мол, недостаточно, и каждому беллетристу надлежит хорошенько ознакомиться с азбукой писательства, с особенностями ритма русской прозы, с звучанием каждой буквы и только потом перетолковывать все по-своему.

Именно вникнув во все эти "азы", по-своему писал и сам Замятин, хотя мудро-озорной Манделъштам, как-то мимоходом говоря о нем, воспользовался цитатой из Хлебникова, указывая, что Замятин якобы в свое творчество "уложил премного разных трав и вер". Но так ли это было? Пожалуй, тут можно ответить двояко. Да, Замятин как-будто старался писать на разных языках, сообразуясь со своей темой, причем темы избирал настолько разнородные, что диву даешься, как они способны были прельщать одного и того же автора. Но, с другой стороны, к какой бы стилизации Замятин ни прибегал, какие бы причудливые орнаменты ни включал в свою прозу (а из орнаментальности он почти сделал канон), сквозь любую его вязь, если только приглядеться повнимательнее, всегда можно было отгадать замятинское перо.

Хотелось ему стать неким русским Свифтом, и если царство лилипутов ему удавалось описывать выпукло и "аппетитно", с той примесью гиперболичности, которая придавала соль его повествованию, то уже в его подходе к царству гуингмов начинала ощущаться известная натяжка, и, может быть, Горький был прав, когда указывал, что в иных своих рассказах Замятин замыслил популяризировать теории Эйнштейна. А ведь кто их понимает, недоумевал Горький, только несколько свехученых физиков...

Кстати, Горький, который долгое время восторгался замятинским творчеством и всячески ему протезировал, затем как-то к нему остыл, и этот холодок как-будто совпал с наделавшим шуму письмом Замятина, обращенном к Сталину. Прося о разрешении покинуть советские пределы, Замятин

указывал, что для него как писателя смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу он не может, потому что никакое творчество немислимо в атмосфере усиливающейся травли. Малопонятно, почему Замятин, рассказывая об этой вехе в своей биографии, проявил несвойственную ему наивность, уверяя, что разрешение на выезд за границу в ноябре зловещего 1931 года было ему дано благодаря поддержке Горького.

Никто, конечно, толком не знает, какие условия были поставлены Замятину при выдаче разрешения на выезд, и надо воздать ему должное за смелость его письма к Сталину, которое могло обойтись ему дорогой ценой. Но вместе с тем нельзя не удивляться той позиции, которую он занял, очутившись за границей. Он все время точно отгораживался от эмиграции, мотивируя это тем, что, поскольку он выехал легально, не может причислять себя к ней и участвовать в ее литературной жизни.

Общался он здесь с немногими, предпочитая людей, причастных к кинематографу. Может быть, ему казалось, что они находятся "над схваткой", а, кроме того, для них он мог работать. В частности, он создал сценарий по горьковской "На дне" и другой — по "Анне Карениной", которые не были осуществлены. Как всякие кинематографические затеи, сценарии оплачивались очень щедро, но антракты в заказах были часто просто нескончаемы и тем не менее понятно, как в бытовом отношении Замятин тянул свою лямку, писал ли он, а если писал, то скорее для своего письменного стола. В зарубежных изданиях он участия не принимал, советские его "бойкотировали".

Роман "Мы", написанный задолго до Орвелла, можно, пожалуй, считать главным его "опусом" и во всяком случае тем, который доставил ему больше всего неприятностей. Если бы он появился сразу после того, как был закончен, то есть в двадцатых годах, то был бы признан пророческим и, несомненно, стал бы "бестселлером". Теперь он, конечно, потускнел и воспринимается как талантливый репортаж, один

из многих, тем более, что действительность превзошла самые пессимистические замятинские предвидения.

Долголетнее его молчание и самовыключенность из зарубежной общественной жизни были главной причиной того, что его имя стало постепенно предаваться забвению и теперь еще трудно предвидеть, найдет ли его творчество большое число поклонников. В его художественной прозе слишком густо ощущается влияние Лескова и отчасти Ремизова, и налицо та игра словами, которая и у Лескова может казаться навязчивой.

Очень симптоматично, что герою первой своей повести, появившейся в печати, Замятин дал непомерно нарочитое имя Анфима Барыбы, словно ему было недостаточно затейливости самого повествования. Думал ли он, что утрированная лубочность имен его героев придаст его творчеству особый отпечаток, или он вспоминал имена действующих лиц из "Ревизора"? Но именно из-за этой сгущенности орнаментовки у читателя может невольно возникнуть вопрос: "А кто когда-либо так говорил?" Замятинский диалог слишком красочен, слишком каламбурен, он слишком "нажимает на педали". Но как-никак его описания старого мещанского и невылазно скучного быта, царившего в русской провинции, или пещерной жизни в первые годы коммунизма, или такие более поздние рассказы, как, например, "Часы" или "Встреча" — на уровне большой русской литературы, между тем, короткий роман об Атилле как-то не сливается с обликом Замятина. В нем он выходит из своей стихии, прельщается "маскарадом", как и в своем театре, который далеко не равноценен его прозе. Хотя его "Блоха", в основу которой легла лесковская повесть, переработанная в духе итальянской комедии, и пользовалась огромным успехом в советской стране, пока не была изъята из репертуара, вероятно, этим успехом была обязана тому, что пьесу поставила студия МХАТа. А уж совсем Замятину "не по чину" мелодрама из эпохи испанской инквизиции, сюжет которой мог бы быть в александрийских стихах обработан Корнелем, и даже досадно, что она была включена в число его

избранных произведений — смесь "французского с нижегородским" никогда не полезна.

\* \* \*

Не так давно пригласил я на чашку чая одного московского литературоведа, бывшего проездом в Париже. Беседы с ним для меня всегда питательны. Мы болтали о том, о сем, пока он невзначай не бросил взгляд на мои книжные полки с "пушкинианой". Сразу же зашел неизбежный в таких случаях разговор о том, что несмотря на тысячи томов, посвященных Пушкину, его биография, объективная, научно-профильтрованная, без лукавых мудрствований и сомнительных отсебятин, как и без того, что метафорически можно было бы назвать "данью моменту", до сих пор не написана. Мы сразу сошлись на том, что этот досаднейший пробел с успехом мог бы заполнить только один человек — *Томашевский*. Но и тут Пушкину "не повезло". Томашевский неожиданно скончался вскоре после появления первого тома его превосходной пушкинской биографии, второй том которой, посмертно изданный, доводил пушкинское жизнеописание только до Михайловской ссылки.

— Да, — сказал мой гость, — я чувствую, что о Томашевском вы говорите в лирических тонах. Вы его знали?

— Нет, лично знать не довелось, но одно время я с ним переписывался и заочно полюбил. А кстати, от чего он умер? Мне это как-то неясно.

— Ах, этого не только вы не знаете, — взволновался мой собеседник. — Томашевский был тяжело болен и последние годы своей жизни был как-то "не в своей тарелке", хотя работать продолжал сверх меры, точно торопился. Может быть, вы слышали, что у этого человека, наглотавшегося архивной пыли как никто, была одна слабость. Этой слабостью был парусный спорт, и едва у него возникала возможность, он устремлялся к морскому берегу. Так было и летом 57-го года. Он поехал отдыхать в Крым и, как каждый год, на парусном

суденьшке один-одинешенек вышел в море. Тут следы его и теряются. Загадка вся в том, что море в эти дни было спокойно, однако несмотря на все поиски, ни его лодки, ни его тела никогда не нашли.

— Как же вы это объясняете?

— В том то и дело, что до сих пор это толком объяснено не было, понимай, как знаешь... Но давайте не предаваться домыслам, они все равно ни к чему не приведут.

Рассказ этот меня всполошил, потому что я питаю огромное уважение к памяти этого выдающегося литературоведа, в котором лингвист и теоретик стиха сочетался с аналитиком, чуждым всякого педантизма, и с человеком очень тонкого вкуса. Среди ученых послереволюционной поры он был подлинно одним из лучших истолкователей пушкинского текста, всегда работавшим на конкретно осязаемом и научно проверенном материале. Он не допускал в своих трудах никаких "вольностей" и, как огня, сторонился недоказуемых гипотез, какими бы они ни были заманчивыми.

Толчком к возникновению нашей переписки послужила изданная Томашевским в 1922 году "Гавриилиада". Критическое издание пушкинской поэмы было тогда своего рода событием. Еще сегодня любуюсь им, не перестаю изумляться, как Томашевскому и его издателю удалось в "умирающем Петрополе" тех лет выпустить такую безупречную, даже в смысле типографского оформления, книгу.

Наиболее придирчивый критик не мог бы предъявить к ней ни единого упрека, несмотря на то, что в текстологическом отношении, из-за отсутствия рукописей поэмы, ее издание было предельно замысловато и запутано. Между тем, работа Томашевского выделялась своей научностью, авторитетностью и знанием самых разнообразных источников текста, вплоть до апокрифических евангелий.

Научная дотошность Томашевского объяснялась еще и тем, что в его руках были значительные козыри. Если после нескольких лет обучения в Льежском политехникуме он и не стал инженером, то все же вынес оттуда математический склад ума. А затем, после Льежа, он некоторое время слушал лекции

по литературе в Сорбонне и во всех деталях ознакомился с французской литературой, преимущественно романтического периода, который его более других интересовал. Впоследствии это сказалося на том, что тема "Пушкин и Франция" была ему особенно близка.

Но я отклонился в сторону... Контакт мой с Томашевским начался с того, что я как-то приобрел экземпляр издания "Гавриилиады", только вскользь и весьма туманно упомянутого в его библиографическом перечне. А я раздобыл эту крошечную книжицу у берлинского антиквара, не подозревавшего, что она отсутствует во всех главных российских книгохранилищах.

Это было весьма необычного вида издание, отпечатанное петитом на пунцовой бумаге, без даты, и местом издания для "отвода глаз" был помечен "Царьград", хотя по целому ряду внешних признаков можно было с полной уверенностью сказать, что книжица появилась в Германии.

Ввиду ее редкости мое библиофильское сердце долго трепетало перед тем, как отослать мое "сокровище" тому, на полке у которого, как мне представлялось, оно должно было находиться.

Получив мою посылочку, Томашевский тотчас мне отписал: "Не знаю, как и благодарить вас за драгоценную присылку. Издание это мне неизвестно, я лишь слышал о существовании его от Лернера (одного из "статей славных" среди пушкинистов начала века), да и то узнал после выхода моей книги. Вообще работа моя библиографически хромает, и я лишь теперь узнаю о многих изданиях и списках, мне оставшихся неизвестными".

Затем капля яда: "Что делать? — советская работа. Условия не позволяют свободной и кропотливой работы в библиотеках. Впрочем, если вы выдаете Андрея Белого, то вы, вероятно, слышали от него, как легко и хорошо работалось нам в эти годы".

Вскоре после этого: "Так как в Берлине русские очевидно сталкиваются, то у вас есть шансы встретиться с Шкловским. Скажите ему, что "Опояз" (основанное Шкловским "Общество

изучения поэтического языка" и гнездо приверженцев формального метода в изучении литературы) жив, но скукисился, издательский кризис мешает нам развить деятельность, и мы сейчас на распутье. У нас есть материал, но не можем осуществить из-за "кризиса" (слово это стояло в кавычках), который принимает все более резкие и затяжные формы". Как известно, "кризис" был вскоре разрешен "свыше" да при том при помощи ежовых рукавиц.

Чуть позднее Томашевский выслал мне рукопись своей неизданной работы о пушкинском пятистопном ямбе, и с помощью Школовского, который воспользовался случаем и присовокупил к работе Томашевского свою собственную статью о "Пушкине и Стерне" (он был тогда ярым стернианцем) и еще статейку Богатырева о "Гусаре", мне удалось найти издателя. Сборник вышел под заглавием "Очерки по поэтике Пушкина", а гонорар Томашевскому был выслан, если память мне не изменяет — в виде двух пар ботинок и пижамы, но зато с заранее уплаченной пошлиной!

Вслед за этим моим "успехом" предовольный Томашевский передавал мне просьбы найти издателей для очень специальных работ от академика Перетца, от лучшего из знатоков древнерусской литературы Адриановой-Перетц, от кого-то еще. "Простите, что забрасываю вас поручениями, — добавлял Томашевский, — тем более чужими. Но что делать. Вы ведь — наше окно в Европу".

К моему глубочайшему прискорбию, это "окно" быстро захлопнулось, и наша переписка прервалась, как говорится, "по независящим от редакции причинам".

Шли годы. Знал я, что положение Томашевского — профессора Ленинградского университета, невзирая на формалистские грехи молодости (впрочем, он был всегда врагом формалистических преувеличений), продолжало в научном мире крепнуть, и его слова, что понимание и истолкование пушкинского наследия невозможно без тщательного изучения его рукописей, потому что единственно они определяют движение мысли поэта, стало понемногу общепринятым. Чело-

век, не копавшийся в рукописях Пушкина, утверждал Томашевский, Пушкина не знает.

Как показывают труды Томашевского (список их только по пушкиноведению превышает 200 номеров), он не терпел псевдонаучности и беспринципности, но это все же не мешало ему считаться с суждениями своих предшественников. Однако, ни одного из их утверждений он не принимал, предварительно сам его не сверив. Он отталкивался от углубленной интерпретации Пушкина, хотя бы в том стиле, в каком это с блеском сделал Достоевский в своей речи, которая, по мнению Томашевского, характерна для Достоевского, но идет мимо Пушкина. Томашевский иронически относился и к большинству работ, в которых исследователи, каждый по-своему, находили в Пушкине соответствия со своим собственным мировоззрением. Он с недоверием относился к "психологическому анализу" личности поэта и приданию его творчеству чрезмерно автобиографических черт, как это проповедовал Гершензон. Томашевский потешался над тем, что, по мнению Гершензона, Пушкин не был в состоянии написать летом стихов о зиме! Его мало прельщало и произвольное сближение по вторичным признакам различных пушкинских произведений разных лет, как это делал Ходасевич, потому что тогда на первый план неизбежно выступает второстепенное.

Мне очень горько, что на мою долю так и не вышло обменяться хотя бы рукопожатиями с Томашевским или возобновить переписку. Я долго не решался сделать первый шаг и мог только издали восторгаться его работоспособностью и с удовольствием читать его книги.

Смерть его была жестоким ударом не только для пушкиноведения, но и для всей науки о литературе, потому что, как писал один из ее видных представителей, "учиться тому, как работать, как мыслить и как строить новое в науке, будут у Томашевского". Я и по сегодня горжусь, что мог принять хоть маленькое косвенное участие в издании одной из его первых больших теоретических работ.

\* \* \*

Ему была посвящена пирамида монографий и гора воспоминаний. В большинстве случаев это были неумеренные панегирики, и только изредка поднимали голос его недоброжелатели, обычно перегибая палку в другую сторону. Что же остается добавить тому, который не был с поэтом близок, знаком с ним был, собственно, шапочно и, воздавая должное его поэтическому дару, отнюдь не включал его в число ценимых им авторов? "Без Маяковского я могу жить", — хотел бы я перефразировать толстовскую фразу.

Но все же... Просматривая "академическое" издание его сочинений, я наткнулся в нем на фотографию, снятую в Берлине в 1923 году. Маяковский изображен на ней рядом со своим закадычным другом Осипом Бриком, человеком хоть и ученым, но с весьма двусмысленной репутацией. Оба расположились на продавленном, бугристом диване. На фотографии этого не видно, но мне эта особенность была хорошо знакома, потому что на этом самом диване в "поднебесном" ателье моего приятеля, художника Ивана Пуни, я провел бесчисленное число часов и именно там и познакомился с Маяковским.

Мне особенно врезалась в память одна многолюдная вечеринка, происходившая в "пуническом" ателье. Перечислить всех присутствующих мне уже не под силу, но отчетливо вспоминаю, как в какой-то момент, когда все уже были навеселе, Маяковский поднялся и голосом, заставлявшим дребезжать стаканы и рюмки, начал декламировать, или, точнее, "громыхать" свое пресловутое "Солнце": "Я крикнул солнцу: погоди, послушай, златолобо,/ чем так без дела заходить/ ко мне на чай зашло бы..."

Вероятно, он не рассчитал относительную камерность помещения и домашность сборища, воображая, что читает с эстрады на каком-то митинге. В авторском исполнении его стихи несомненно выигрывали, но все же, хотя впечатление от его чтения было огромное, оно все-таки двоилось.

Как это объяснить? Вот вслед за ним гутниво и не-

уверенно, словно с усилием припоминая собственные строки, что-то еле слышно пробурчал Пастернак, а затем выступил "последний из адъютантов" Гумилева, Николай Оцуп. Не повышая голоса и лишь подчеркивая концы слов, он читал свои "негромкие" стихи. И мне, да не мне одному, почудилось, что эти скромные оцуповские строки, такие далекие от вызывающего бряцания Маяковского, задушевные в своей внешней безыскусности, чем-то его смутили. Может быть, вполне бессознательно он почувствовал, что демагогические приемы далеко не каждому по душе и существует нечто более важное, чем аплодисменты: установление между поэтом и его слушателями какой-то связующей "ниточки". А тогда именно этого Маяковскому не удалось достигнуть. Он это сознавал, и это его несомненно огорчало. В том, что после этих импровизированных выступлений, им самим затеянных, он как-то потух, было даже что-то трогательное. Непредвиденно всплыла на поверхность та сентиментальность, которую мало кто в нем подозревал, которую, словно стыдясь ее, он считал необходимым тщательно маскировать.

Мне кажется, что и впоследствии, во время мимолетных встреч с ним в Париже, эта его черта не раз меня озадачивала, потому что она как-то не вязалась с его обликом. В Париже она, вероятно, проявлялась более отчетливо еще потому, что он находился в чужой для него среде, и ему не нужно было разыгрывать ту раз навсегда принятую роль, которая так часто его сковывала, приелась ему и нередко становилась "поперек дороги". Вот почему громкое цветаевское восклицание после вечера чтения Маяковского — "Сила — там", доставившее ей немало неприятностей, — было, как мне кажется, совсем не по адресу. "Сила — там", как эти слова ни истолковывать, меньше всего они могли относиться к Маяковскому, и он это вскоре доказал.

Я как-то столкнулся с ним на бульваре Монпарнас, и он затащил меня в соседнее кафе. Это был, кажется, единственный случай, когда мы оказались "один на один". "Признайтесь, — сказал он после нескольких переброшенных слов, — ведь вы мои стихи не любите". Я хоть ему не поддакнул, но

сказанного им и не отрицал. Я ожидал грома, а он посмотрел на меня не то с ласковой иронией, не то с жалостью и добавил: "Ах, знаете, мне самому многое в них давно разонравилось, да что делать... Вот и выпускаю теперь сборник стихов, еще один, озаглавив его "Но-с". Это сокращенно двух слов — "но" для новые, "с" для стихи. Вы воображаете, что я не понимаю, насколько это плоско, но верьте мне, на этот "нос" клонет публика, а это главное. Да, каждому свое... Это еще какой-то римлянин сказал".

Ссылка на Плиния Старшего меня поразила больше, чем самый смысл его слов.

А потом, хоть в этом деле я полный профан, неоднократно я был свидетелем его игры на бильярде, и так вышло, что его партнерами были парижские русские художники, собиравшиеся за зелеными столами в кафе, которое в свое время прославлял Верлен, приходивший сюда чуть ли не ежевечерне насладиться привычной порцией абсента.

На бильярде Маяковский играл плоховато, это даже я мог видеть, но зато с необычайным азартом. Со стороны можно было подумать, что от исхода каждой партии зависит дальнейшее течение его жизни. При проигрыше он постоянно куксился и все время увеличивал ставки, не отпуская партнера, пока результат "сражения" как-то не сглаживался.

Была у этого здоровяка и без малого великана одна странность. Маяковский был до смешного мнителен, боялся болезней, боялся заразы и носил с собой какой-то флакончик не то с одеколоном, не то с какой-то профилактической жидкостью, которую он то и дело, иногда среди разговора, на себя брызгал, тер ею руки и даже перед игрой обтирал свой кий.

А Париж он любил действительно нежно, любил бродить по полусонному городу, а если в кармане залеживались "лишние" франки, не чуждался иной раз заглянуть в злачные места. Город на Сене притягивал его сильнее, чем он мог выразить это в посвященных французской столице строках, в которые порой врывается "постороннее". Можно ли его за это осуждать? Ведь ему постоянно хотелось в этот город вер-



нуться... Стоит только вспомнить несколько слов из его стихов о "прощании с Парижем": "Париж бежит, провожая меня, во всей невозможной красе" и столь известную концовку того же стихотворения: "Я хотел бы жить и умереть в Париже...", даже если, чтобы быть "вне подозрений", она сдобрена полувынужденным добавлением: "...Если б не было такой земли — Москва".

А ведь именно в эти годы Москва "его слезам не верила", и жизнь его не складывалась. Одна за другой настигали его литературные неудачи, и за бравурным фасадом все яснее выпирала блеклая повседневность. Даже пересуды о его "вечной любви" шли мимо, и его дружески-любовные письма к его Беатриче, написанные хоть и в ласковом, но все же несколько "мещанском" ключе, которые он с наносной игривостью подписывал "Щен", пририсовывая к своей подписи изображение щенка Бульки, на поверку оказывались только позой. Кстати сказать, письма эти были посмертно изданы, но, может быть, был какой-то смысл в том, что они почти сразу же были изъяты из продажи.

А в один из своих последних наездов в Париж Маяковский влюбился как-будто бы по-серьезному и более глубоко, чем когда-либо до того.

Когда-то я был знаком с объектом его влюбленности и, к слову сказать, должен быть ей премного благодарен. В тяжкие дни 40-го года, тотчас после демобилизации, я оказался на средиземноморском побережье, без сантима в кармане, разгуливая еще в военной форме. Несмотря на сумятицу тех дней, эта самая милая молодая женщина пришла мне на помощь, организовав небольшую группу, которую я должен был посвятить в искусство бриджа, хоть ни учителю, ни его ученикам было тогда не до карт. Но такой жест не забывается.

Как бы то ни было, то, что сочинил Виктор Шкловский, утверждая, что Маяковский и предмет его увлечения "были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбаются при их виде", — сплошная литература. Не подлежит сомнению, что кареокая "жертва" Маяковского была на редкость эффектна и привлекательна, но

вызывает сомнения, что монументальный Маяковский мог импонировать избалованной молодой женщине вне поэтической среды. Его угрозы: "Я все равно когда-нибудь тебя возьму / Одну или вдвоем с Парижем" привели только к тому, что в дальнейшем ему в выездной визе из Советского Союза стали отказывать, и, по слухам, в этом деле постарались его "близкие".

В Москве существует площадь Маяковского, станция метро его имени, в центре города высится его памятник. Все эти беспримерные почести только препятствуют осознать, что все последние годы своей жизни это был "неприкаянный" человек, глубоко несчастный и свою горечь маскировавший показной арrogантностью, наигранным нахальством и словесной грубостью.

В нашем сознании все эти тяжеловесные бронзы невольно отъединяют человека от поэта, которого, по слову Пастернака, "насаждали, как картошку при Екатерине". А ведь, оглядываясь назад, оказывается, что в сущности "над родной страной он прошел стороной, как проходит косой дождь...", не больше. Такова оборотная сторона слишком несоразмерной прижизненной шумихи.

\* \* \*

Есть ли в наши дни еще читатели у *Пильняка*, автора, который по строю своих писаний может показаться весьма устаревшим?

По словам Надежды Мандельштам, в двадцатых годах Пильняк "гремел" в Советском Союзе. "Это был его день, — пишет она, и, пожалуй, среди нового литературного поколения у него тогда еще не было опасных конкурентов. Но свою славу он по-настоящему не сумел использовать: становится "вельможей", как Федин или Леонов, было не в его натуре.

Я встречал его в самом начале его литературного восхождения, когда он был только автором нашумевшего "Голого года", в котором он пытался скрестить ритмы Андрея Белого

со словесной вязью Ремизова. В этом "разорванном" от избытка чувств и слов романе революционный ритм представлялся Пильняку как некая анархическая сила, которая восстанавливает национальный облик "Расей" и этим оправдывает стихийный разгул.

Пильняк был одним из первых именитых писателей-"попутчиков", как их тогда называли, который посетил "за границу". Зарубежным литературным кругом принят он был с распростертыми объятиями, хотя и немного так, как если бы он был диковинным экспонатом из какой-то кунсткамеры. Его ходили слушать, но еще больше — на него посмотреть, тогда как многочисленные издатели всячески его обхаживали. Неизвестно, замечал ли он сам нездоровый налет любопытства у тех, кому жал руки, или кто приглашал его "на чашку чая", естественно, "с водочкой". Во всяком случае он никогда не терял уверенности в себе, хотя и был чужд зазнайства, а в некоторых отношениях выделялся каким-то преувеличенным легкомыслием. Хоть "на дворе" стоял НЭП и будущее мнилось подслащенным, но для Пильняка все пережитое, все "страсти-мордасти" были как будто нипочем. Ему, мол, все можно и с него ничего не спросится. Он якшался со всеми — с правыми и с левыми, с маститыми писателями и с новичками в литературе, продавал свои рукописи право-детским и левоэсеровским издательствам. Ему нужны были деньги и притом в относительно большом количестве, потому что он тут же тратил их, испытывая удовольствие от самого процесса траты. А когда уезжал и ему еще что-то причиталось, неизменно указывал: "Гонораришко, пожалуйста, в Коломну и в долларах".

Первым, чье резкое недовольство он своими писаниями вызвал, словно наступил на любимую мозоль, был Горький, который своим многочисленным корреспондентам писал о том, что Пильняк — имитатор да еще и не очень искусный, добавляя, что его словесное фокусничество — болезненное явление в современной литературе. Хоть Горький любил всех обнадеживать, даже часто людей бесталанных, Пильняку он написал назидательное письмо, в котором говорил: "Мастер-

ство у вас неуклонно опускается до "мастерщинки", очень плохо это, и путь, которым вы идете, может привести вас к некой клоунаде".

Трудно установить, какая муха укусила Горького, когда он не переставал всем своим авторитетом обрушиваться на Пильняка, и при желании можно предположить, что его злые и колкие слова могли стать причиной того, что издание повести Пильняка "Красное дерево" в берлинском "Петрополисе" якобы "вызвало всеобщее возмущение советской общественности". Между тем, то же издательство в то же время выпускало книги Федина, Тынянова, Лидина, всех не вспомнить, и к этому и общественность, и власти относились с полным равнодушием, зная, что на эти зарубежные издания сохраняются авторские права.

Но дело было в том, что до "Красного дерева", в котором в какой-то мере выступали наружу несбывшиеся мечтания, связанные с революцией, да, кроме того, все дела и дни революции были как-то на втором плане, Пильняк выпустил еще "Повесть непогашенной луны" — историю некоего командарма, которого, вопреки его желанию, подвергают какой-то хирургической операции, ставшей причиной его гибели. Намек на случай с Фрунзе был слишком очевиден и, конечно, это вызвало бурю негодования со стороны власти имущих. Однако, после сделанных ему свыше серьезных внушений, а, может быть, и угроз, он сдался и "обелил" свою репутацию романом "Волга впадает в Каспийское море", в котором превозносились стройки социализма и как бы подчеркивалось, что без революции ничего "такого" и быть не могло. Пильняка простили и даже снова выпустили за границу, что, конечно, было признаком высокой милости.

Однако, после возвращения из Америки с книжечкой "Окей", он представил рукопись романа "Двойники". Она была решительно отклонена, и тогда Пильняк послал ее в Варшаву своему другу-поэту и переводчику Броневскому, который к тому же был видным коммунистом и у Кремля числился "персоной грата". Казалось бы, что овцы целы и волки сыты. Броневский блистательно перевел и затем издал

пильняковский роман, который, по-видимому, был создан наспех и довольно оригинально скроен. Собственно, переставив запятое, Пильняк взял отрывки из целого ряда своих предыдущих романов и, сгладив их сумятицу, довольно искусственно, но в то же время и искусно объединил их, введя двух новых героев — братьев-близнецов, настолько друг на друга похожих, что, когда один из них смотрел на другого, каждому из них казалось, что он стоит перед зеркалом.

Невозможно в нескольких словах передать запутанную фабулу "Двойников", действие которых происходит и до революции, и в посленэповские дни, то за полярным кругом, то в Москве, то в "седьмой советской", то есть Таджикистане. Сюжет построен на физическом сходстве двух братьев при их полном духовном и душевном различии. Один из них — человек сильной воли, инженер, строитель завода по добыче радия, убежденный коммунист из "твердолобых". Другой — бывший актер, "народный артист республики", женолюб, человек, насмешливо относящийся ко всякой политике и режиму.

Надо сказать, что такого рода коллизии были не раз использованы в советской литературе, да они и не были писательскими измышлениями, а сравнительно частым явлением, особенно в годы гражданской войны, когда братья или отец с сыном находились в разных станах.

Курьеза ради отмечу, что я довольно хорошо знал двух братьев, имевших от рождения двойную фамилию. Младший выбрался из России с белой армией и в эмиграции постепенно "краснел", стал "возвращенцем" и вернулся с семьей в Советский Союз. Старший, который когда-то учился в кадетском корпусе, до войны скромно проживал в каком-то провинциальном городишке и выбрался из него со "второй эмиграцией", то есть с немецкими арьергардами. Очутившись за границей, он сразу примкнул к весьма правым офицерским организациям. Братья друг к другу относились с нескрываемым презрением, и кончилось тем, что старший избрал первую половину двойной отцовской фамилии, тогда как младший ее усек и ограничился второй.

Но это дело маленькое, почти "анекдотец". Между тем в романе Пильняка образы двух схожих близнецов можно при желании истолковывать символически, как некую раздвоенность русской интеллигенции, часть которой оглядывается на прошлое, тогда как другая все надежды возлагает на будущее. Одна часть работает, не покладая рук, другая, как говорится на языке авиаторов, "вылеталась" — ведь пилоты со временем "теряют сердце", начинают бояться воздуха, их нервы "гадятся". "Двойники" были, очевидно, так и поняты цензурой, к тому же некое противопоставление во всех пильняковских писаниях "скифства" и Запада не могло ей быть по душе.

Таким образом, случай непредвиденный и едва ли правдоподобный: последний роман Пильняка, не изданный в его оригинальной версии, был издан в блистательном польском переводе. А затем часть его была переведена с польского на русский, а другая отыскана среди тех старых романов, из которых была Пильняком извлечена.

А сам Пильняк, как известно и как указывает "Литературная энциклопедия", был "незаконно репрессирован" в 1937-м году, и имя его надолго исчезло со страниц советской печати. Лишь в 1976-м он был "литературно реабилитирован", и в Москве вышел том избранных его произведений. Между тем точная дата его смерти так и не установлена. Официально указывается, что он умер в лагере в первый год войны, а до того упорно ходили слухи о его расстреле. А между тем Ахматова посвятила Пильняку стихотворение, в котором есть многозначительные строки:

О, если этим мертвого бужу,  
Прости меня, я не могу иначе:  
Я о тебе, как о своем, тужу  
И каждому завидую, кто плачет,  
Кто может плакать в этот смертный час  
О тех, кто там лежит на дне оврага...

\* \* \*

"Современные записки" — "как много в этом звуке..." Ведь подлинно, стоит произнести эти два слова или взглянуть на неприязательную, окаймленную узенькой черной рамочкой белую обложку этого "толстого" журнала, как сразу же встают из небытия первые годы российской эмиграции, не вполне еще оседлой, в большинстве своем неустроенной, мало приспособленной к западноевропейскому быту (об Америке тогда и не думалось) и, может быть, про себя еще таившей несбывшиеся мечтания.

Последняя семидесятая книжка наиболее популярного из всех эмигрантских журналов представляет библиографическую редкость. Ведь вышла она поздней весной трагического 40-го года, почти накануне падения Парижа, и едва ли ее успели разослать всем клиентам — подписчикам и книгопродавцам. К тому же можно почти безошибочно полагать, что немалая часть ее тиража погибла в эпоху нацистской оккупации Франции, как гибли тогда многочисленные книги, русские и нерусские.

Говорить о содержании этого последнего номера, пожалуй, нет особого смысла. Стоит только взглянуть на его оглавление, чтобы убедиться что этот предсмертный выпуск ни литературно, ни идеологически не выходит из линии своих шестидесяти девяти предшественников. Правда, с той маленькой, но все же симптоматичной разницей, что с первой страницы журнала исчезли имена редакционной коллегии. Пожалуй, любопытно и то, что открывается книга рассказом Сирина, который тогда еще не именовал себя Набоковым. Хотя он и был частым сотрудником журнала, но тогда его имя вне литературных кругов особой популярностью не пользовалось. Мало того, его талант по разным, отчасти внелитературным причинам, оспаривался кое-какими авторитетными людьми. Отметить этот факт стоит потому, что первое место на страницах журнала нередко вызывало своего рода распри.. Иные маститые писатели были весьма склонны к местничеству, угрожая редакции, что ежели их произведение не будет

напечатано первым в очередной книжке журнала, они перестанут в нем сотрудничать.

Но вот в оглавлении ставшего лебединой песнью номера "Современных записок" почти сплошь привычные для журнала имена и, к огорчению читателя, как водится, "начала без конца" с неизменной отметкой "продолжение следует" или "концы без начала" (поскольку начало появилось в предыдущих номерах). Здесь мы встречаем имена Алданова, начавшего печататься с первого номера журнала и закончившего "Началом конца", Бориса Зайцева, Адамовича рядом с Ходасевичем, Федотова и Бунакова с какой-то ...адцатой частью резко антишпенглеровских, но по рецептам Шпенглера написанных "Путей России". А кроме того — все разрастающаяся молодая (все относительно!) литературная поросль: наряду с многостраничным Газдановым целая плеяда поэтов, принадлежавших к тому поколению, которое считало себя "незамеченным". Их "Современные записки" в последние годы своего существования стали охотно привлекать, всячески стараясь внести новые имена в одно время застывший перечень печатаемых журналом литераторов.

"Современные записки", как они сами себя характеризовали, были "общественно-политическим и литературным журналом", но в читательском сознании их литературная часть перевешивала все другие, хоть журнал и выходил под редакцией пяти, а затем (после трагической смерти одного из них) четырех "эсеров", спаянных между собой не только партийными, но и долголетними дружескими узами, общим им всем стремлением к демократии в ее идеализированном виде и лирическими воспоминаниями о невоплощенном "Учредительном собрании", членами которого они все когда-то были избраны. Но как-никак отсутствие единоличного редактора сказывалось на подготовке макета каждого номера, потому что дружба дружбой, однако у каждого из четырех все-таки на многое были собственные взгляды и симпатии, и для их согласования каждому приходилось идти на известные компромиссы.

Хотя все члены редакции с юных лет принадлежали к

одной, притом во время оно довольно "воинственной" партии, созданный ими журнал ни в какой мере не был партийным. Его страницы были открыты каждому, чей писательский талант признавался четырехголовой редакцией, и стоит только пробежать список сотрудников, чтобы убедиться, что, как писал Ходасевич, "разделенные раздорами идейными и политическими, а нередко и личными, в "Современных записках" все могли усесться за один стол". А главное — при разнообразии высказываний журнал всегда сохранял внутреннее единство. "Всеядность" редакции исключала только участие авторов, склонных протянуть руку коммунистическому режиму, редакция косо относилась к евразийству и нетерпимо — ко всякой "накануневщине". Журнал был, действительно, органом непредвзятого суждения, но никак не боевым политическим органом, оттого в нем могли спокойно уживаться хотя бы во всем друг с другом не согласные Милуков с Маклаковым, Мережковский с Кусковой. Для своего детища редакторы стремились установить репутацию органа, для которого незыблемы понятия права, культуры, свободы или ценности отдельной личности, словом, всего того, что сегодня наполовину выветрилось или приобрело уродливые формы некоего "эрзаца". Не без некоторого донкихотского упрямства они стремились проводить все эти понятия сквозь свой журнал в неисковерканном виде.

Почти с нежностью проглядывая теперь последний номер журнала, на обложке которого, вопреки основным принципам редакции, выборочно прибавлены имена участвующих в нем авторов (причем Набоков почему-то назван по имени, которым он еще не подписывался, как и пресловутая переписка Вячеслава Иванова с Гершензоном не вполне по-русски окрещена "Перепиской м е ж д у двух углов"), вспоминаю далекое — и какое далекое! — прошлое: первый номер журнала, родившийся в те дни, когда последние врангелевские суда отдалялись от берегов Крыма, держа курс к турецким берегам.

Это было в первый год моей затянувшейся парижской жизни, и я припоминаю, с каким замиранием сердца взял в руки эту книжку совсем молодой человек, в первую очередь

пораженный тем, что она как бы продолжала рухнувшие литературные традиции! Впрочем, как теперь видится, содержание той первой книжки было довольно-таки случайным, и на правах "мэтров" выступали вскоре вышедшие в тираж Гребенщиков или Минцлов. Зато рядом с ними печаталась "Святая Елена" мало кому известного Алданова, а в качестве приманки — начало алексеевского романа "Хождение по мукам". Кстати, было бы весьма поучительно сравнить этот первый вариант нашумевшего романа с тем, который впоследствии огромными тиражами появился в советском государстве после того, как был переписан автором в своем барском царском помещье...

Могут ли теперь понять, насколько сложно было в те далекие дни регулярно выпускать журнал, номера которого иной раз насчитывали свыше 500 страниц, и притом каждому из авторов выплачивать гонорары, хоть и небольшие и едва ли всегда покрывавшие полученные ими авансы!..

Задуманный редакцией как ежемесячник, что было по существу утопично не только из-за неизбежных финансовых трудностей, но также из-за невозможности собрать достаточно полноценного материала, журнал выходил все с большими и большими промежутками, и к концу его существования выпускалось не больше двух книжек в год. Но каждую книжку с возрастающим нетерпением ждали и авторы, и читатели, и любой экземпляр журнала проходил через десятки рук, потому что обзаводиться книгами многим было в тягость — куда их девать при переездах, не говоря уж о том, что не всякий мог из своих скудных средств выделить нужную для покупки книг сумму, какой бы она ни была незначительной...

Не раз говорилось, что по общему уровню, по своей "многогранности" и некоему "отсутствию шор" журнала, подобного "Современным запискам", не существовало даже в дореволюционные времена. И это особенно ощутимо теперь, когда родился ряд новых русскоязычных журналов, но в них редакторское "ячество" то и дело подчиняет журнал своим непредвиденным капризам и не только не объединяет рассеянных по всему миру выходцев из России, но упрямо

старается провести между ними некий водораздел, считая козлицами всех с ним не согласных.

\* \* \*

Был как-то у меня в гостях довольно известный советский литературовед и за чашкой чая мы с ним долго и с увлечением болтали на всевозможные литературные темы, преимущественно на те, довольно специальные, о которых часами могут разговаривать люди особой породы, именуемые "книголюбями".

Гость мой вдруг заспешил, он запоздал на какое-то свидание, в середине своего рассказа встал, чтобы попрощаться, но перед тем, как протянуть мне руку — точно его осенила какая-то мысль — и без всякой связи с предыдущим сказал:

— Вы говорили, что учились в Петербурге, значит в гимназии Мая...

Невольно я поразился его пронизательности, моих гимназических лет мы в разговоре не касались, и я едва ли когда-либо думал, что это почтенное учебное заведение, пользовавшееся репутацией "либерального", когда этот эпитет не заключал в себе никакого пренебрежительно-иронического оттенка, накладывает на его питомцев какой-то заметный постороннему глазу или, вернее, уху отпечаток.

Но вопрос, заданный мне моим собеседником, запал мне в душу и, думая о нем, я стал кое-что вспоминать. Вспоминал преподавателей, любимых и нелюбимых, а одновременно не мог не подумать, что, вероятно, большинство из них вскоре очутилось то ли на Соловках, то ли на стройке какого-нибудь канала; вспоминал самое здание, классы, кабинеты физический, исторический и другие; вспоминал пеструю из-за отсутствия обязательной гимназической формы раздевалку и швейцара Степана, который поименно знал всех гимназистов и, в случае чего, как мог, помогал им. Вспомнилось еще, как в окутанные ледящим туманом октябрьско-ноябрьские утра я долго ждал у остановки трамвая № 17 с оранжевым огнем

слева и белым справа и как он долго не приходил, и я, чтобы не дай Бог опоздать к началу занятий, если только бывал в моем кармане "пятиалтынный", брал Ваньку (впрочем, тогда эта извозчицья кличка едва ли была мне знакома), но мне и в голову не могло прийти подъехать на саночках, на которых я так любил прокатиться, к самому зданию гимназии — меня бы засмеяли — и я останавливался за квартал до него. А попутно со всегда волнующими книжными разговорами вспоминается и другое: то, как будучи уже в старших классах, вместе с одним из моих одноклассников М. мы не раз улепетывали с последних уроков, улепетывали "конспиративно", чтобы не встретить кого-нибудь "нежелательного", но с молчаливого благословения упомянутого мной Степана, и отправлялись на Литейный, на котором были сосредоточены все главные *букнисты* столицы.

В те далекие времена почти все они были моими "закадычными" друзьями и почти все с оттенком отеческой нежности относились к юным библиофилам и сочувствовали их книжным страданиям, не уступавшим вертеровским. Не всегда могли мы хоть какую-нибудь малость у них купить, но посмотреть на их новые приобретения могли всегда и, если не было у них клиентов, всегда была у них охота поговорить с нами, и они часто не прочь были, конечно, "под большим секретом" поведать нам о своих находках или вернее о том, что вот-вот что-то заманчивое появится у них в виду, кто-то умер, кто-то покидает Петербург, кому-то до зарезу понадобились деньги.

Вижу перед собой широкие, точно накануне отполированные витрины Соловьева, в которых красовались шагреновые переплеты с гербами. Это были витрины самого изысканного из петербургских книжных антикваров, состоятельного балетомана, которому приелась коммерция и он передал свое дело старшему своему сотруднику — некому Молчанову, с которым мне иной раз доводилось совершать замысловатые товарообмены или брать у него книги в кредит, не зная затем, как ликвидировать долг, потому что я часто превышал "книжную ассигновку", дозволенную мне отцом.

Помню хорошо толстого Лебедева, на вид купчину из

комедии Островского, намеренно напускавшего на себя неприступное выражение лица: мол, со мной не поторгуешься... Но и он все же снисходил к слабостям двух гимназистов, которым уже до боли недоставали символисты и мистики в распроданных изданиях "Скорпиона" или "Мусагета". А у него они всегда были в запасе.

Вспоминаю еще скромных на вид Базыкина и Митюрникова, обоих в потрепанных пиджачках, которые не умели, а может быть, не хотели показывать свой товар лицом, считая, что каждому любителю книги польстит, если он откроет что-то для себя ценное в какой-нибудь якобы завали или хотя бы на полке с разрезанными ходовыми книгами.

Но больше всего места я должен уделить одному из самых больших чудачков в обособленном мире петербургских книжных антикваров — кажется, обрусевшему потомку французских эмигрантов, старику Мелину. Он был помесью гофмановского персонажа с героем диккенсовской "Лавки древностей", а может быть, и гоголевским героем, если бы Гоголь, дописав свой "Невский проспект", завернул на Литейный или на Литейную улицу, как она в гоголевские времена прозывалась и только позднее получила повышение в ранге.

Магазина в буквальном смысле у Мелина не было, взамен были у него две квартиры, одна под другой, в которые, пройдя неуютную подворотню, надо было взбираться по лестнице, во многом напоминавшей ту, по которой всходил Раскольников. Обе его квартиры были сплошь — с полу до потолка — заставлены книжными полками, среди которых со своими несчетными кошками, издававшими неприятный запах, ютился их владелец — бедный богач с выщипанной по виду бородашкой, с пучками волос, торчащими в разных направлениях. Как он вел свое дело — непонятно, где он набирал свои книги, как пополнял свои склады — еще более непонятно, потому что едва ли он когда-либо покидал свою мрачную "Аладинову пещеру" или, по другому, свою трущобу, находившуюся на пятом или шестом этаже.

Когда вы приходили к нему и долго стучали в его дверь, он открывал ее не сразу и не сразу допускал клиента к своим

сокровищам. Было бесполезно спрашивать его о том, имеется ли в его непочатых складах та или иная искомая вами книга. Может быть, он был даже искренен, не умея на ваш вопрос ответить.

Но затем происходила подлинная церемония — сперва Мелин должен был узнать, кто вы, кто вас рекомендовал, кто дал вам его адрес. "Подойдите сюда — я взгляну на вас, там, где вы стоите, что-то темновато". Впрочем, полутемно в его квартире было повсюду. Первый свой взгляд он считал решающим, и если вы ему понравились, он был по-своему приятен и порой многоречив, хотя и не хотел этого показывать, считая, что "огрызаться" было неотъемлемой частью созданного им стиля. Но, как бы там ни было, он всякому и каждому при первом к нему визите говорил: "Сегодня мне что-то нездоровится, приходите лучше через неделку". Это входило в его репертуар и, действительно, на следующий раз он уже встречал вас совсем по-другому и сразу протягивал руку, чтобы передать большущий ключ от своей нижней квартиры. "Идите туда сами, мне невдомек, и копайтесь в моей рухляди, все равно ничего для себя не найдете".

А там, внизу, также стояли десятки или того больше полок, сплошь наполненных преимущественно старинными французскими книгами в запыленных переплетах XVII-XVIII веков, а около них собрания эльзевиров, а иногда и альды, которые сегодня в Париже стоили бы состояния. Многотомные издания, как правило, были рассыпаны по разным полкам, но покупатель твердо знал, что все тома налицо и надо только уметь их отыскать среди общей массы книг. Это была одна из причуд Мелина, желание испытать терпение книголоба, желание удостовериться, что он подлинно стремится приобрести эти книги.

Когда вы отыскиали те несколько книг, которые, конечно, казались для вашей библиотеки необходимыми, вы, неся их под мышкой, подымались к нему, и тут начинался последний акт комедии. "Нашли все-таки, а к чему вам эти книги, я ей-же-ей, даже имени их автора не знаю и никогда о нем ничего не слышал (а начитан он был до крайности). Книги неважные да расставаться с ними больно, как-то по привычке

ним. Я стар, а вы хотите отнять у меня последние радости, но мне вот моих кошек кормить надо, а они капризные". Эти причитания он считал обязательными для поддержки своей репутации. "А сколько даете?" Покупатель, особенно молодой, какими мы были в те незапамятные времена, краснел и терялся. Какую цифру назвать, никто из нас не знал. Тогда, выдержав небольшую паузу и подливая для кошек на блюдечко молоко, Мелин приходил нам якобы "на помощь": "Да, денег у вас небось нет, но чтобы вы добром вспоминали старика, я вам уступлю... и он любовно разглядывал нашу добычу... за столько-то, но только с условием, что вы никому не назовете мою цену". И тут же произносил какую-то непомерную по нашим понятиям цифру. Мы бледнели и, увидав произведенный его словами эффект, почти тотчас же "снисходил": "Ну, на первых порах, так сказать, для знакомства (а эти слова повторялись каждый раз), дайте мне хотя бы..." — и он называл примерно десятую часть первой суммы, добавляя, — только часто меня не тревожьте, я ведь немощен (это была правда), покупатели меня выводят из равновесия, а, кроме того, мои кошки не любят посторонних (и это тоже была правда).

Так шли дни этого оригинала, о котором я — это было в первые годы эмиграции — слышал, будто он скончался в той самой квартире, в которой прожил бесчисленное число лет, умер как-то незамеченно, и труп его вместе с трупами его кошек только спустя долгий срок нашла вызванная жильцами дома милиция. А что стало с его книжными сокровищами, мне неизвестно. Вероятно, через какой-то срок они при помощи "Международной книги" очутились на берегах Сены, кое-что на ларьках тамошних букинистов, а что получше — у антикваров рангом повыше.

А теперь, как мне рассказывают, Литейный проспект, широкий, как всякий другой, стоит со своими реставрированными домами, в которых нашли приют два антикварных книжных магазина с вечно пустующими полками. С тем большей грустью вспоминаю блаженные гимназические годы, когда Литейный притягивал меня к себе, как магнит, и когда затем мне приходилось придумывать какие-то неправдо-

подобные отговорки, объясняющие мое запоздание. Впрочем, родители только делали вид, что мне верят, особенно, если невзначай замечали, что мой портфель (ранцев больше не носили, они для "приготовишек") оказывался не в меру пухлым.

\* \* \*

Это происходило, если не ошибаюсь, ранней весной 1942 года, в тот период, когда, проживая под бунинской крышей, я сравнительно часто ездил из Грасса в Ниццу для свиданий с *Андре Жидом*. Поездки эти часто мотивировались задуманным, но так и незавершенным "совместным" переводом "Темных аллей", но для меня их внутренним импульсом были скорее встречи с самим Жидом, разговоры с ним, "наши шахматные сеансы", как он эти встречи окрестил. Кстати сказать, я до сего дня несказанно горд тем, что мое имя значится в указателе к прославленному "Дневнику" Жида. Он отметил в нем, что "ему, наконец-то, удалось выиграть у меня партию", Это только показывает, какие оба были мы "горе-шахматисты".

Однажды, как было стоворено, я под вечер зашел к нему в "Адриатик", большой отель, расположенный в нескольких шагах от "Английской променады", особенно прельстивший Жида тем, что в его комнате были голые стены: на них не висело никаких воспроизведений "шедевров мировой живописи"!

Поднявшись к нему, я успел только заметить, что фигуры на шахматной доске были уже расставлены, но в тот же момент затрещал телефон. Оказалось, что внизу в холле находится Мартен дю Гар, автор нашумевшей многотомной эпопеи "Тибо" (в русском переводе "Семья Тибо"), один из последних предвоенных нобелевских лауреатов. В разговорах Жид часто на него ссылался, советовался с ним по всяким литературным и внелитературным делам, и я знал, что в ту пору и уже до самой смерти Жида он, вероятно, был одним из самых близких его друзей, одним из немногих, которых Жид "по пути" не растерял.

Жид неожиданно взволновался. "Вы не знаете, какой он



дикарь, какой чудак, как он боится незнакомых людей. Если он вас здесь застанет, он непременно подумает, что я нарочно подстроил ему "ловушку".

Слово "ловушка" было мне малопонятно и, сознаюсь, даже слегка меня кольнуло. Конечно, я тотчас же изъявил желание ретироваться. Однако Жид решительно запротестовал. Нет, он настаивал на том, чтобы я, в свою очередь, спустился в холл и там его обождал. Сказано — сделано, но не успел я войти в этот холл, как отельный грум пришел за мной, говоря, что "мосье Жид просит меня вернуться и познакомиться с его гостем".

После всего того, что о нем говорил Жид, гость меня "смутил". Он оказался милейшим, простым в обращении человеком, без каких-либо претензий или фокусов, свойственных иногда "знаменитостям". Ничего "дикарского", ничего чудаковатого я приметить в нем не сумел. Разве что отлично скроенный пиджак в очень широкую клетку и трубка в зубах, с которой он не расставался в течение всего вечера, придавали ему чуть англазированный вид.

Общий разговор сразу же наладился и стал перескакивать с одной темы на другую, оставляя в стороне злободневные вопросы. Хотя злободневность всех тогда крайне волновала, но все, что можно было вычитать в газетах, казалось не в меру мрачным, да и слухи, которые постоянно кружились по Ницце, отнюдь не были розовыми, так что всем хотелось отдохнуть от ставшего привычным комментирования военных сводок и политических прогнозов.

Доминировали вопросы чисто литературные и, вероятно, ввиду моего присутствия и после того, как Жид объяснил своему гостю, что я живу у Бунина, оба в один голос с большим уважением заговорили о нем. Мне даже показалось, что Мартен дю Гар, лично Бунина не знавший, был более осведомлен о его творчестве, нежели сам Жид. Поразительно было только то, что Жид, в общем обменявшийся с Буниным каким-нибудь десятком фраз, прочитавший не больше двух или трех из его книг, как-то почувствовал, что идея смерти неустанно тревожит Бунина. "В этом отношении он вам сред-

ни, — обратился он к Мартен дю Гару, — тогда как мне всегда казалось, что когда пир подходит к концу, незачем его длить..."

От Бунина к Толстому переход был почти естественен и едва ли не сразу на вечную тему "Толстой—Достоевский" между двумя писателями произошла краткая "перепалка". Романы Толстого были настольными книгами Мартен дю Гар, и он говорил о том, что, постоянно перечитывая "Войну и мир", каждый раз открывает в ней новые, как он сказал "жемчужины", новые объяснения для всего, что происходит в мире.

— Но в этой книге такие длинноты, — перебил его Жид, — я все-таки предпочитаю "Анну Каренину".

— Я готов был бы с вами согласиться, — возразил на это выпад Мартен дю Гар, — если вы признаете, что в жизни, несмотря на ее краткость, также немало длиннот.

— Но от Толстого меня отталкивает, — продолжал Жид, не отвечая своему собеседнику, — его внутреннее чванство, ведь надменность не оставляла его даже в его самоотречении. Из книги Бунина я узнал, что в нем всегда шла борьба с собственной судьбой, и это всегда была борьба некоего Титана с Богом. Я, конечно, Толстым восхищаюсь, но он мне не созвучен. С сочувствием и симпатией я способен относиться только к людям скромным, если хотите, в какой-то мере обездоленным, чего-то лишенным. Вероятно, поэтому мне так близок Достоевский. С Достоевским я дома, с Толстым чувствую себя в гостях.

Мартен дю Гар кисло улыбнулся. Он, вероятно, слышал такие слова уже не впервые, потому что этот спор между ними не был ни первым, ни последним. Однако он тут же потребовал от Жида, чтобы тот перечитал "Войну и мир", даже если, как он утверждает, история, как таковая, его не прельщает.

Случилось, уж не помню в связи с чем, что один из собеседников произнес имя Святополка-Мирского, критика очень блестящего. Оба стали точно "взапуски" восторгаться его литературной пронизательностью, но, вместе с тем, недоумевать по поводу его политической близорукости. "Как мог

он принять решение вернуться в СССР, — говорили оба, — заранее зная, что как бы судьба его там ни сложилась, собой он больше быть не сумеет".

Я вспомнил, как незадолго до своего возвращения Мирский побывал в Париже и читал доклад — заглавия его не помню — в каком-то весьма странном помещении, чуть ли не в какой-то полутемной крипте одной из левобережных церквей. Помещение было маленькое, так что не нужно было много слушателей, чтобы его наполнить. Как всегда, когда он выступал перед русской аудиторией или писал для русского читателя, Мирский любил ошарашивать парадоксами. Не обошлось без них и в этом докладе. Он упрекал и Достоевского и Толстого в чрезмерной "женственности" и, к удивлению слушателей, противопоставлял им Помяловского, настаивая на том, что это единственный писатель, который в русской литературе способен представлять начало мужественное.

Замечу в скобках, что тогда среди слушателей находились и Бунин с Алдановым. Алданов возмущался, а на Бунина пречерная борода докладчика, кажется, произвела большее впечатление, чем сам доклад. "Ну, что с него взять, — говорил он, — надо же пооригинальничать" — и тут же сочинил шуточный экспромт, который начинался словами: "Он — человек немолодой". Строка эта, естественно, рифмовалась с "бородой", а дальше — точка...

Когда заговорили о Мирском, я напомнил о его странном суждении, которое обоим настолько поразило (имя Помяловского, конечно, было для них пустым звуком), что они отнеслись к моим словам с явным недоверием, и мне это было понятно. Иностранцев Мирский никогда не стремился "эпатировать" своими не в меру спорными высказываниями. Все же упрек в отсутствии мужественности, обращенный одновременно к Толстому и к Достоевскому, был воспринят обоими почти как оскорбление — Мартен дю Гар был уязвлен за Толстого, такую же обиду Жид почувствовал за Достоевского.

Становилось поздно. Мартен дю Гар стал прощаться, и когда я сказал, что Бунину, который как раз в этот день находился в Ницце, будет крайне досадно, что он не удосу-

жился познакомиться со своим собратом по Нобелю, Жид воскликнул, что эту встречу необходимо устроить, но что лауреаты легче сойдутся под знаком преклонения перед Толстым, чем под запоздалыми лучами стокгольмского золотого дождя.

Я поднялся вслед Мартен дю Гару, но Жид меня не отпустил и, хотя время для игры в шахматы уже миновало, он усадил меня в кресло и дал читать законченные им едва ли не накануне воспоминания о встречах с Верленом. Соблазн прочесть эти отрывки был слишком велик, чтобы я мог последовать за Мартен дю Гаром, хотя мне и было заманчиво поговорить с ним с глаза на глаз. Воспоминания о Верлене были короткими, но Жиду в тот вечер, вопреки его обычаям, очевидно, еще не хотелось оставаться одному, и он вслед за тем "угостил" меня небольшой еще неизданной статьей о Рембо, в которой он обрушивался на стремление некоторых католических кругов "аннексировать" поэта. "Рембо больно кусает католическую Церковь, утверждал Жид, а католики продолжают делать вид, будто Рембо, как и Верлен — верные сыны Церкви".

В этот вечер сильно похолодало — на юге скачки температуры нередки — и Жид, не в меру зябкий, почувствовал это, даже сидя в своей теплой и уютной комнате. Он заметил, что я пришел без пальто и заставил меня влезть в какую-то невозможную "хламиду", скроенную, как он не без оттенка хвастовства заявил, по его собственным "чертежам". Это была некая помесь епанчи с мантильей, снабженной кимонообразными рукавами. Но зато это необыкновенное одеяние было даже не в меру согревающим. Вид в нем у меня был несомненно ошеломляющим, и я до сих пор поражаюсь, что встреченные мной на обратном пути полицейские меня не задержали.

\* \* \*

Я не видал *Кесселя*, "Жеффа" для всех его знакомых, с тех пор, как он стал "маститым", а этому много лет. В последний раз встретил, зайдя за ним, чтобы пойти пообедать вместе с

Буниным, которого он едва знал. Но он непременно хотел разглядеть Бунина поближе, чтобы затем включить в свой "паноптикум", на страницах которого, точно бабочки на булавках, уже хранилось столько знаменитостей. Происходило это в первые годы после освобождения Франции, когда еще не вернулось нормальное положение и многоцветные продовольственные карточки продолжали осложнять жизнь. Было условлено посетить какой-то невзрачный с виду ресторанчик, в котором можно было не только "отвести душу", но и полакомиться всякой запретной снедью.

Обед, однако, вышел не вполне удачным. Бунин в этот день был не в ударе, тюрбо под "густым соусом" не удовлетворило его, соус оказался совсем не таким, как он мечтал, не совсем как тот, который подавали Стиве Облонскому! Но все же, главное было не в соусе. Кессель точно из рога изобилия не переставал сыпать словесными блестками. Заметив недовольный взгляд Бунина на поданную ему рыбу, он с увлечением начал рассказывать о какой-то "акульей ухе", которой его потчевали на берегах Красного моря, куда он ездил, чтобы собирать материалы о процветавшей там — еще в недавние дни — работорговле. Затем он поделился "неизданными" впечатлениями о Нюрнбергском процессе, происшедшем едва ли не "накануне". А из Нюрнберга почти без передышки перебрался на описание сомнительных игорных домов в Лас Вегасе, а минуту погодя стал описывать какую-то никому неизвестную войну в каком-то никому неизвестном Паджустане, пограничной области между Индией и Ираном. Все, чего он касался, было увлекательно и словно оживало перед глазами слушателей. Но Бунину все же было не совсем по себе следовать за всеми кесселевскими "взлетами". Он был недоволен тем, что не мог ничем парировать занятнейшие рассказы сидящего рядом с ним пышущего здоровьем и талантом великана с неким подобием львиной гривы на сравнительно молодой голове.

Оговорюсь, — я все-таки видел Кесселя и после этой ресторанной встречи. Видел, но только на экране, когда по телевидению показывали церемонию его приема во Французскую

Академию, в "бессмертные". В Академии Кессель занял кресло историка герцога де ла Форса и по правилам, установленным еще кардиналом Ришелье, должен был произнести панегирик своему предшественнику. Но кто мог быть более чужд Кесселю, чем этот герцог, представлявший чопорную "старую Францию", сохранявшую видимость бытовых традиций и аристократическую изысканность манер? Казалось, что Кессель в своем зеленом, расшитом золотыми листьями фраке, со шпагой на боку должен был чувствовать себя не совсем ко двору. Между тем, он со скрытой усмешкой, словно в назидание своим новым коллегам-академикам, зычным голосом, показавшимся мне не совсем обыденным, воскликнул: "Что вы, господа, совершили? На место герцога вы избрали сына русских родителей, в придачу — еврея. Вы избрали человека, который много странствовал, обо многом наслышался и с особым вниманием относится к голосам тех, которые страдали и еще продолжают страдать от дискриминации; тех, кому неведомо понятие справедливости и чуждо чувство собственного достоинства". Надо было, чтобы много воды утекло под мостами близлежащей Сены, чтобы под "академическим куполом" такие слова вызвали гром аплодисментов.

Думается, однако, что для самого Кесселя его зеленый академический фрак был не больше, чем очередным приложением в нескончаемом их списке. Ведь он всю жизнь бегал за ними, искал опасностей и никогда не был более удовлетворен, чем если, рискуя жизнью, ему удавалось эти опасности преодолеть. Если более пристально взглянуть в его биографию, то можно увидеть, что, собственно, вся его жизнь была авантюрным романом и его творчество в значительной мере было замаскированным отражением пережитого им самим.

Не странно ли, что этот французский "бессмертный" и писатель, чьи книги разошлись в одной только Франции в нескольких миллионах экземпляров, был сыном русского доктора-еврея, временно перекочевавшего в Аргентину, где "Жефф" и родился. Однако, раннюю молодость он провел в Оренбурге, чтобы затем вместе с родителями уже окончательно перебраться во Францию и здесь, завершив свое

образование, стать как бы отцом "большого репортажа". Ведь до него к такому жанру установилось отношение, как к бедному родственнику. Даже словарь Ожегова высокомерно определяет репортаж как "сообщение о местных событиях в периодическую печать", то есть как нечто эфемерное, назавтра теряющее интерес. Между тем, границы, которыми замыкается этот жанр, трудно определимы и недаром в нем существует область, которой французы дали имя "большого репортажа", с полным основанием включая ее в художественную литературу. Если подумать, будет ли ересью признать за "репортаж" хотя бы пушкинское "Путешествие в Арзрум"?

Кессель свой первый "репортажик" — некую пробу пера — посвятил дефиле Победы под Триумфальной Аркой в 1919 году, когда во главе шествия на белых конях ехали маршалы Фош и Жоффри, а война казалась пережитком прошлого. Но именно это дефиле превратилось в начало кесселевской карьеры. От него все и пошло. Вскоре он очутился в Дублине, где началась кровопролитная война за независимость Ирландии. Он был послан в Америку, чтобы описать последствия страшного экономического кризиса конца двадцатых годов. Был в Испании во время гражданской войны, в Израиле едва была провозглашена его независимость и начались первые стычки с арабами. Когда что-то там происходило, посетил Гонконг и Макао, страны Индокитая, Индию, всего не перечислить. Недаром его литературное наследие обнимает около 80 томов.

Особенность Кесселя заключалась в том, что он хотел одновременно быть авантюристом и дэнди, аскетом и прожителем жизни, попользоваться всеми ее радостями, испытать все ее наслаждения и, как ни странно, все ему удавалось. Он любил вечеринки или, точнее, пьянки, чтобы сразу после них засесть за работу и не отрывать от пера (пишущих машинок он не признавал) по десяти часов. Любил ночные рестораны, те, которые в путеводителях отмечены несколькими звездочками, и в такой же мере полупритоны. Всю жизнь был равнодушен к цыганскому пению, к "подруге семиструнной" и

любил женщин любой расы, любого звания, со всеми женскими противоречиями, которые в молодые годы он изображал в своей "Дневной красавице".

Он был прирожденным непоседой или, может быть, непоседой его сделали обстоятельства, когда чуть ли не с пеленок его перебрасывали из одного материка на другой. Во время Первой мировой войны, совсем юнцом, скрывая возраст, он пошел добровольцем в авиацию, которая была еще в самом зачатке. С какой выпуклостью он изобразил эти дни в своей книге "Экипаж", в которой не столько живописал героические "дела и дни" своей эскадрильи, сколько подчеркивал ту мужественную дружественность, те братские узы, которые связывали между собой всех пилотов.

Двадцать с небольшим лет спустя, после крушения Франции, Кессель перебрался в Лондон к де Голлю, который сразу же захотел направить его за океан для улучшения аппарата пропаганды. Кессель наотрез отказался, предпочитая снова взяться за штурвал и стать военным авиатором, не раз совершал опаснейшие разведывательные полеты над оккупированной Францией. Примерно тогда же в сотрудничестве со своим племянником, Дрюоном, он написал слова гимна Сопротивления, начинавшегося словами — "Друг, слышишь ли ты черный полет воронья..." Эта песня стала своеобразной "Марсельезой" партизанского движения, которое Кессель затем описал в "Армии теней", ставя ударение на том, что ее героизм должен был оставаться скрытым, а борьба и опасности не знали перерыва.

Свою жизнь, приключения и злоключения (без них, конечно, не обойтись) Кессель подробно осветил в семитомной "Башне несчастий", в которую он включил всю свою журналистическую эпопею. А потом прошло еще некоторое время и годы уже препятствовали поискам новых приключений. Он вынужден был коротать время в своем небольшом поместье под Парижем среди книг своих и чужих, среди коллекции трубок и каких-то диковинных сувениров, вывезенных с Дальнего Востока или из Центральной Америки. Путешествия уже были позади. Но есть что-то символическое в том, что

одна из его последних книг, полуроман-полурепортаж "Дикие времена" была посвящена России, вернее, Сибири, куда он, не дожидаясь демобилизации, опять-таки добровольцем отправился в 1919 году с французской военной миссией.

"Дикие времена" — едва ли можно подыскать более определяющее заглавие для книги, описывающей, как сентиментальные мечтания молодого добровольца рассеялись, когда, сойдя со схода в Владивостоке, он увидел в гавани скованные льдом корабли, почерневший снег и патрули, в которых не было двух солдат в одинаковой форме. А потом он узнал, что у сидящего в Омске "верховного правителя", кроме мнимых атрибутов власти, нет, собственно, ничего и даже военное снаряжение зависит от доброй воли японцев и чехов.

Кесселю его начальство вручило револьвер и увесистую сумку, туго набитую ассигнациями, и дало в помощники чешского сержанта, который, как рыба в воде, плавал в этой невсамделишной, но жуткой обстановке. Оказалось, что во Владивостоке даже французской военной миссии для выгрузки французских военных самолетов надо было действовать "подкупательно". Для достижения поставленного перед ним задания Кесселю понадобилась не одна сумка, подобная той, которая так смутила его поначалу. А на этом фоне долгие бессонные ночи в местном кафешантане, где ежевечерне происходило некое подобие "пира во время чумы".

"Пир во время чумы" — на долю Кесселя выпало участие в такого рода пирушках чуть ли не на всех широтах земного шара. Но его заслуга в том, что, вызывая порой зловещие тени прошлого, он избегает ловушки политических оценок и выводов. Он с литературным блеском описывает виденное и пережитое "без гнева и пристрастия". Кессель — не только талантливый писатель, но и подлинный репортер, который предпочитал, чтобы окончательные выводы были сделаны его читателем.

*Публикация Г. Поляка*